

П Р И Л О Ж Е Н И Е

В. Г. Белинский

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ СОЧИНЕНИЕ М. ЛЕРМОНТОВА

С.-Петербург. 1840. Две части

Отличительный характер нашей литературы состоит в резкой противоположности ее явлений. Возьмите любую европейскую литературу, и вы увидите, что ни в одной из них нет скачков от величайших созданий до самых пошлых: те и другие связаны лестницею со множеством ступеней, в нисходящем или восходящем порядке, смотря по тому, с которого конца будете смотреть. Подле гениального художественного создания вы увидите множество созданий, принадлежащих сильным художническим талантам; за ними бесконечный ряд превосходных, примечательных, порядочных и т. д. беллетрических произведений, так что доходите до порождений дюжинной посредственности не вдруг, а постепенно и незаметно. Самые посредственные произведения иностранной беллетристики носят на себе отпечаток большей или меньшей образованности, знания общества или по крайней мере грамотности авторов. И потому-то все европейские литературы так плодovitы и богаты, что ни на миг не оставляют своих читателей без достаточного запаса умственного наслаждения. Самая французская литература, бедная и ничтожная художественными созданиями, едва ли еще не богаче других беллетрическими произведениями, благодаря которым она и удерживает свое исключительное владычество над европейскою читающею публикою. Напротив того, наша молодая литература по справедливости может гордиться значительным числом великих художественных созданий и до нищеты бедна хорошими беллетрическими произведениями, которые, естественно, должны бы далеко превосходить первые в количестве. В век Екатерины литература наша имела Державина — и никого, кто бы хотя несколько приближался к нему; полузабытый ныне Фонвизин и забытые Хемницер и Богданович были единственными примечательными беллетристами того времени. Крылов, Жуковский и Батюшков были поэтическими корифеями века Александра I; Капнист, Карамзин (говорим о нем не как об историке), Дмитриев, Озеров и еще немногие блестящим образом поддерживали беллетристику того времени. С двадцатых до тридцатых годов настоящего века литература наша оживилась: еще далеко не кончили своего поэтического поприща Крылов и Жуковский, как явился Пушкин, первый великий народный русский поэт, вполне художник, сопровождаемый и окруженный толпою более или менее примечательных талантов, которых неоспоримым достоинствам мешает только невыгода быть современниками Пушкина. Но зато пушкинский период необыкновенно (сравнительно с предшествовавшими и последующим) был богат блестящими беллетрическими талантами, из которых некоторые в своих произведениях возвышались до поэзии, и хотя другие теперь уже и не читаются, но в свое время пользовались большим вниманием публики и сильно занимали ее своими произведениями, большею частью мелкими, помещавшимися в журналах и альманахах. Начало четвертого десятилетия ознаменовалось романическим и драматическим движением и — несбывшимися яркими надеждами: «Юрий Милославский» подал большие надежды, «Торквато Тассо» тоже подал большие надежды... и многие подавали большие надежды, только теперь оказались совершенно безнадежными... Но и в этом периоде надежд и безнадежностей блесит яркая звезда великого творческого таланта, — мы говорим о Гоголе, который, к сожалению, после смерти Пушкина ничего не печатает и которого последние произведения русская публика прочла в «Современнике» за 1836 год, хотя слухи о новых его произведениях и не умолкают... Тридцатый год был роковым для нашей литературы: журналы начали прекращаться один за другим, альманахи наскучили публике

и прекратились, и в 1834 году «Библиотека для чтения» соединила в себе труды почти всех известных и неизвестных поэтов и литераторов, как бы нарочно для того, чтобы показать ограниченность их деятельности и бедность русской литературы... Но обо всем этом мы скоро поговорим в особой статье, на этот раз прямо выскажем нашу главную мысль, что отличительный характер русской литературы — внезапные проблески сильных и даже великих художественных талантов и, за немногими исключениями, вечная поговорка читателей: «Книг много, а читать нечего...» К числу таких сильных художественных талантов, неожиданно являющихся среди окружающей их пустоты, принадлежит талант г. Лермонтова.

В «Библиотеке для чтения» на 1834 год напечатано было несколько (очень немного) стихотворений Пушкина и Жуковского; после того русская поэзия нашла свое убежище в «Современнике», где, кроме стихотворений самого издателя, появлялись нередко и стихотворения Жуковского и немногих других и где помещены: «Капитанская дочка» Пушкина, «Нос», «Коляска» и «Утро делового человека», сцена из комедии Гоголя, не говоря уже о нескольких замечательных беллетристических произведениях и критических статьях. Хотя этот полужурнал и полуальманах только год издавался Пушкиным, но как в нем долго печатались посмертные произведения его основателя, то «Современник» и долго еще был единственным убежищем поэзии, скрывшейся из периодических изданий с началом «Библиотеки для чтения». В 1835 году вышла маленькая книжка стихотворений Кольцова, после того постоянно печатающего свои лирические произведения в разных периодических изданиях до сего времени. Кольцов обратил на себя общее внимание, но не столько достоинством и сущностью своих созданий, сколько своим качеством поэта-самоучки, поэта-прáсола. Он и доселе не понят, не оценен как поэт, вне его личных обстоятельств, и только немногие сознают всю глубину, обширность и богатырскую мощь его таланта и видят в нем не эфемерное, хотя и примечательное явление периодической литературы, а истинного жреца высокого искусства. Почти в одно время с изданием первых стихотворений Кольцова явился с своими стихотворениями и г. Бенедиктов. Но его муза гораздо больше произвела в публике толков и восклицаний, нежели обогатила нашу литературу. Стихотворения г. Бенедиктова — явление примечательное, интересное и глубоко поучительное: они отрицательно поясняют тайну искусства и в то же время подтверждают собою ту истину, что всякий внешний талант, ослепляющий глаза внешнею стороною искусства и выходящий не из вдохновения, а из легко воспламеняющейся натуры, так же тихо и незаметно сходит с арены, как шумно и блистательно является на нее. Благодаря странной случайности, вследствие которой в «Библиотеку для чтения» попали стихи г. Красова и явились в ней с именем г. Бернета, г. Красов, до того времени печатавший свои произведения только в московских изданиях, получил общую известность. В самом деле, его лирические произведения часто отличаются пламенным, хотя и неглубоким чувством, а иногда и художественною формою. После г. Красова заслуживают внимания стихотворения под фирмою — Θ —; они отличаются чувством скорбным, страдальческим, болезненным, какою-то однообразною оригинальностью, нередко счастливыми оборотами постоянно господствующей в них идеи раскаяния и примирения, иногда пленительными поэтическими образами. Знакомые с состоянием духа, которое в них выражается, никогда не пройдут мимо их без душевного участия; находящиеся в том же самом состоянии духа, естественно, преувеличат их достоинства; люди же, или незнакомые с таким страданием, или слишком нормальные духом, могут не отдать им должной справедливости: таково влияние и такова участь поэтов, в созданиях которых общее слишком заслонено их индивидуальностью. Во всяком случае стихотворения — Θ — принадлежат к примечательным явлениям *современной* им литературы, и их историческое значение не подвержено никакому сомнению.

Может быть, многим покажется странно, что мы ничего не говорим о г. Кукольнике, поэте столь плодовитом и столь превознесенном «Библиотекою для чтения». Мы вполне признаем его достоинства, которые не подвержены никакому сомнению, но о которых

нового нечего сказать. Поэтические места не выкупают ничтожности целого создания, точно так же, как два, три счастливые монолога не составляют драмы. Пусть в драме, состоящей из 3000 стихов, наберется до тридцати или, если хотите, и до пятидесяти хороших лирических стихов, но драма от того не менее скучна и утомительна, если в ней нет ни действия, ни характеров, ни истины. Многочисленность написанных кем-либо драм также не составляет еще достоинства и заслуги, особенно если все драмы похожи одна на другую как две капли воды. О таланте ни слова, пусть он будет; но степень таланта — вот вопрос! Если талант не имеет в себе достаточной силы стать в уровень с своими стремлениями и предприятиями, он производит только пустоцвет, когда вы ждете от него плодов. — Чтобы нас не подозревали в пристрастии, мы, пожалуй, упомянем еще и о г. Бернете, во многих стихотворениях которого иногда проблескивали яркие искорки поэзии; но ни одно из них, как из больших, так и из маленьких, не представляло собою ничего целого и оконченного. К тому же талант г. Бернета идет сверху вниз, и последние его стихотворения последовательно слабее первых, так что теперь уже перестают говорить и о первых. Может быть, мы пропустили еще несколько стихотворцев с проблеском таланта; но стоит ли останавливаться над однолетними растениями, которые так нередки, так обыкновенны и цветут одно мгновение! стоит ли останавливаться над ними, хоть они и цветы, а не сухая трава? Нет,

Спящий в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!

И потому обратимся к *живым*. Но и из них только один Кольцов обещает жизнь, которая не боится смерти, ибо его поэзия есть не современно важное, но безотносительно примечательное явление. Никого из явившихся вместе с ним и после него нельзя поставить с ним наряду, и долго стоял он в просторном отдалении от всех других, как вдруг на горизонте нашей поэзии возшло новое яркое светило и тотчас оказалось звездой первой величины. Мы говорим о Лермонтове, который, без имени, явился в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» 1838 года с поэмою «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», а с 1839 года постоянно продолжает являться в «Отечественных записках». Поэма его, несмотря на ее великое художественное достоинство, совершенную оригинальность и самобытность, не обратила на себя особенного внимания всей публики и была замечена только немногими, но каждое из его мелких произведений возбуждало общий и сильный восторг. Все видели в них что-то совершенно новое, самобытное; всех поражало могущество вдохновения, глубина и сила чувства, роскошь фантазии, полнота жизни и резко ощутительное присутствие мысли в художественной форме. Пока оставляя в стороне сравнения, мы заметим теперь только то, что, при всей глубине мыслей, энергии выражения, разнообразии содержания, по которым Кольцову едва ли можно бояться чьего-нибудь соперничества, форма его стихотворений, несмотря на свою художественность, всегда однообразна, всегда одинаково безыскусственна. Кольцов не есть только *народный* поэт: нет, он стоит выше, ибо если его *песни* понятны всякому простолюдину, то его *думы* недоступны никакому; но в то же время он не может назваться и поэтом национальным, ибо его могучий талант не может выйти из магического круга народной непосредственности. Это гениальный простолюдин, в душе которого возникают вопросы, свойственные только людям, развитым наукою и образованием, и который высказывает эти глубокие вопросы в форме народной поэзии. Поэтому он непереволим ни на какой язык и понятен только у себя дома, только своим соотечественникам. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» показывает, что Лермонтов умеет явления непосредственной русской жизни воспроизводить в народно-поэтической форме, единственно свойственной им, тогда как прочие его произведения, проникнутые русским духом, являются в той общемировой форме, которая свойственна

поэзии, перешедшей из естественной в художественную, и которая, не переставая быть национальной, доступна для всякого века и всякой страны ¹.

В то время как какие-нибудь два стихотворения, помещенные в первых двух книжках «Отечественных записок» 1839 года, возбудили к Лермонтову столько интереса со стороны публики, утвердили за ним имя поэта с большими надеждами, Лермонтов вдруг является с повестью «Бэла», написанную в прозе. Это тем приятнее удивило всех, что еще более обнаружило силу молодого таланта и показало его разнообразие и многосторонность. В повести Лермонтов явился таким же творцом, как и в своих стихотворениях. С первого раза можно было заметить, что эта повесть вышла не из желания заинтересовать публику исключительно любимым ею родом литературы, не из слепого подражания делать то, что все делают, но из того же источника, из которого вышли и его стихотворения, — из глубокой творческой натуры, чуждой всяких побуждений, кроме вдохновения. Лирическая поэзия и повесть современной жизни соединились в одном таланте. Такое соединение по-видимому столь противоположных родов поэзии не редкость в наше время. Шиллер и Гёте были лириками, романистами и драматургами, хотя лирический элемент всегда оставался в них господствующим и преобладающим. Сам «Фауст» есть лирическое произведение в драматической форме. Поэзия нашего времени по преимуществу роман и драма; но лиризм все-таки остается общим элементом поэзии, потому что он есть общий элемент человеческого духа. С лиризма начинает почти каждый поэт, так же, как с него начинает каждый народ. Сам Вальтер Скотт перешел к роману от лирических поэм. Только литература Северо-Американских Штатов началась романом Купера, и это явление так же странно, как и общество, в котором оно произошло. Может быть, это оттого, что североамериканская литература есть продолжение английской. Наша литература представляет тоже совершенно особенное явление: мы вдруг переживаем все моменты европейской жизни, которые на Западе развивались последовательно. Только до Пушкина наша поэзия была по преимуществу лирическая. Пушкин недолго ограничивался лиризмом и скоро перешел к поэме, а от нее — к драме. Как полный представитель духа своего времени, он также покушался на роман: в «Современнике» 1837 года помещено шесть глав (с началом седьмой) из неконченного романа его под названием «Арап Петра Великого», из которых четвертая глава была первоначально помещена в «Северных цветах» 1829 года. Повести Пушкин начал писать уже в последние годы своей недоконченной жизни. Однако ж очевидно, что настоящим его родом был лиризм, стихотворная повесть (поэма) и драма, ибо его прозаические опыты далеко не равны стихотворным. Самая лучшая его повесть, «Капитанская дочка», при всех ее огромных достоинствах, не может идти ни в какое сравнение с его поэмами и драмами. Это не больше, как превосходное беллетристическое произведение с поэтическими и даже художественными частностями. Другие его повести, особенно «Повести Белкина», принадлежат исключительно к области беллетристики. Может быть, в этом заключается причина того, что и роман, так давно начатый, не был кончен. Лермонтов и в прозе является равным себе, как и в стихах, и мы уверены, что, с большим развитием его художнической деятельности, он непременно дойдет до драмы. Наше предположение не произвольно: оно основывается сколько на полноте драматического движения, заметного в повестях Лермонтова, столько же и на духе настоящего времени, особенно благоприятного соединению в одном лице всех форм поэзии. Последнее обстоятельство очень важно, ибо и у искусства всякого народа есть свое историческое развитие, вследствие которого определяется характер и род деятельности поэта. Может быть, и Пушкин был бы таким же великим романистом, как лириком и драматургом, если бы явился позже и имел подобного себе предшественника.

«Бэла», заключая в себе интерес отдельной и оконченной повести, в то же время была только отрывком из большого сочинения, равно как и «Фаталист» и «Тамань», впоследствии напечатанные в «Отечественных же записках». Теперь они являются, вместе с другими, с «Максимом Максимычем», «Предисловием к журналу Печорина» и

«Княжною Мери» под одним общим заглавием «Героя нашего времени». Это общее название — не прихоть автора; равным образом по названию не должно заключать, чтобы содержащиеся в этих двух книжках повести были рассказами какого-нибудь лица, на которого автор навязал роль рассказчика. Во всех повестях одна мысль, и эта мысль выражена в одном лице, которое есть герой всех рассказов. В «Бэле» он является каким-то таинственным лицом. Героиня этой повести вся перед вами, но герой — как будто бы показывается под вымышленным именем, чтобы его не узнали. Из-за отношений его по «Бэле» вы невольно догадываетесь о какой-то другой повести, заманчивой, таинственной и мрачной. И вот автор тотчас показывает вам его при свидании с Максимом Максимычем, который рассказал ему повесть о Бэле. Но ваше любопытство не удовлетворено, а только еще более раздражено, и повесть о Бэле все еще остается для вас загадочною. Наконец в руках автора журнал Печорина, в предисловии к которому автор делает намек на идею романа, но намек, который только более возбуждает ваше нетерпение познакомиться с героем романа. В высшей степени поэтическом рассказе «Тамань» герой романа является автобиографом, но загадка от этого становится только заманчивее, и отгадка еще не тут. Наконец вы переходите к «Княжне Мери», и туман рассеивается, загадка разгадывается, основная идея романа, как горькое чувство, мгновенно овладевшее всем существом вашим, пристаёт к вам и преследует вас. Вы читаете, наконец, «Фаталиста», и хотя в этом рассказе Печорин является не героем, а только рассказчиком случая, которого он был свидетелем, хотя в нем вы не находите ни одной новой черты, которая дополнила бы вам портрет «героя нашего времени», но, странное дело! вы еще более понимаете его, более думаете о нем, и ваше чувство еще грустнее и горестнее...

Эта полнота впечатления, в котором все разнообразные чувства, волновавшие вас при чтении романа, сливаются в единое общее чувство, в котором все лица, каждое столько интересное само по себе, так полно образованное, становятся вокруг одного лица, составляют с ним группу, которой средоточие есть это одно лицо, — вместе с вами смотрят на него, кто с любовью, кто с ненавистью — какая причина этой полноты впечатления? Она заключается в единстве мысли, которая выразилась в романе и от которой произошла эта гармоническая ответственность частей с целым, это строго соразмерное распределение ролей для всех лиц, наконец эта оконченность, полнота и *замкнутость* целого.

Сущность всякого художественного произведения состоит в органическом процессе его явления из возможности бытия в действительность бытия. Как невидимое зерно, западает в душу художника мысль и из этой благодатной и плодородной почвы разворачивается и развивается в определенную форму, в образы, полные красоты и жизни и, наконец, является совершенно особным, цельным и замкнутым в самом себе миром, в котором все части соразмерны целому, и каждая, существуя сама по себе и сама собою, составляя замкнутый в самом себе образ, в то же время существует для целого как его необходимая часть и способствует впечатлению целого. Так точно живой человек представляет собою также особый и замкнутый в самом себе мир: его *организм* сложен из бесчисленного множества *органов*, и каждый из этих органов, представляя собою удивительную целостность, оконченность и особность, есть живая часть живого организма, и *все* органы образуют *единый* организм, единое неделимое существо — *индивидуум*. Как во всяком произведении природы, от ее низшей организации — минерала, до ее высшей организации — человека, нет ничего ни недостаточного, ни лишнего; но всякий *орган*, всякая жилка, даже недоступная невооруженному глазу, необходима, и находится на своем месте; так и в созданиях искусства не должно быть ничего ни недоконченного, ни недостающего, ни излишнего; но всякая черта, всякий образ и необходим, и на своем месте. В природе есть произведения неполные, уродливые, вследствие несовершенства организации; если они, несмотря на то, живут — значит, что получившие ненормальное образование *органы* не составляют важнейших частей организма или что ненормальность

их не важна для целого организма. Так и в художественных созданиях могут быть недостатки, причина которых заключается не в совершенно правильном ходе процесса их явления, то есть в большем или меньшем участии личной воли и рассудка художника, или в том, что он недостаточно выносил в своей душе идею создания, не дал ей вполне сформироваться в определенные и оконченные образы. И такие произведения не лишаются чрез подобные недостатки своей художественной сущности и ценности. Но как в произведениях природы слишком неправильное развитие органов производит уродов, которые, родясь, тотчас и умирают, так и в сфере искусства есть произведения, не переживающие минуты своего рождения. Вот такие-то произведения искусства могут быть и переделываемы и приносиваемы к случаю и к обстоятельствам, и о таких-то произведениях говорится, что в них есть и красóты и недостатки. Но истинно художественные произведения не имеют ни красот, ни недостатков: для кого доступна их целость, тому видится *одна* красота. Только близорукость эстетического чувства и вкуса, неспособная обнять целое художественного произведения и теряющаяся в его частях, может в нем видеть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность.

Всё, что ни есть в действительности, есть обособление общего духа жизни в частном явлении. Всякая организация есть свидетельство присутствия духа: где организация, там и жизнь, а где жизнь, там и дух. И потому, как всякое произведение природы, от минерала и былинки до человека, есть обособление общего духа жизни в частной жизни, так и всякое создание искусства есть обособление общей мировой идеи в частный образ, в самом себе замкнутый. Организация есть сущность того процесса, чрез который является все живое и нерукотворное, следовательно, и все произведения природы и искусства. И потому-то те и другие так целостны, так полны, окончены, словом, *замкнуты в самих себе*.

Но что же такое эта «замкнутость»? — спросят нас наконец. Отвечаем: это вещь столько же простая, сколько и мудреная, — и удовлетворительно ответить на этот вопрос столько же легко, сколько и трудно. Что такое дух? Что такое истина? Что такое жизнь? Как часто предлагаются такие вопросы и как часто делаются на них ответы! Вся жизнь человеческая есть не что иное, как подобные вопросы, стремящиеся к разрешению. И что же? — для многих ли решена загадка и найдено слово? Отчего же так? Да оттого, что все вопросы и предлагаются и решаются *словом*, а слово есть или мысль, или пустой звук: кто в самой натуре своей, внутри самого себя, в таинственном святилище духа своего носит возможность решения таких вопросов, — возможность, которая называется *предощущением, предчувствием, чувством, внутренним созерцанием, внутренним ясновидением истины, врожденными идеями* и пр., — для того слово есть мысль, и, услышав его, он принимает в себя значение, заключенное в этом слове. Причина такой *понятливости* заключается в сродстве, или, лучше сказать, в тождестве познающего с познаваемым. Но и самое это тождество требует большого развития: иначе *понятливость* тупеет, и вопросы остаются безответны. Но у кого нет этого тождества с предметами его познания, для того слово — пустой звук; ухо его услышит слово, но разум останется глух для него. Вот почему вопросы, о которых мы говорим, столько же просты, сколько и мудрены, и отвечать на них столько же легко, сколько и трудно. Однако ж мы попытаемся здесь навести читателей на идею того, что мы называем, в природе и искусстве, *замкнутостью*. Посмотрите на цветущее растение: вы видите, что оно имеет свою определенную форму, которою отличается оно не только от существ в других царствах природы, но даже и от растений разного с ним рода и вида: его листики расположены так симметрически, так пропорционально, каждый из них так тщательно, с такою заботливостью, с таким бесконечным совершенством отделен и изукрашен до малейших подробностей... Как роскошно прекрасен его цветок, сколько на нем жилочек, оттенков, какая нежная и яркая пыль... И какое, наконец, упоительное благоухание!.. Но всё ли тут? О нет! Это только внешняя форма, выражение внутреннего: эти чудные краски вышли изнутри растения, этот обаятельный аромат есть его бальзамическое дыхание...

Там, внутри его ствола, целый новый мир: там самодеятельная лаборатория жизненности, там по тончайшим сосудцам дивно правильной отделки течет влага жизни, струится невидимый эфир духа... Где же начало и причина этого явления? В нем самом: оно было уже, когда еще не было растения, когда было только зерно. Уже в этом зерне заключался и корень, и ствол, и красивые листочки, и пышный ароматический цвет! Видите ли, в этом цветке все, что ему нужно: и жизнь, и источник жизни, и явление, и причина явления, и растительность, и все орудия, органы и сосуды растительности, а между тем где вы усмотрите начало или конец всего этого? Вы видите, что это растение полно и совершенно само в себе, не имеет ничего недостающего ему и ничего лишнего, что оно живо и индивидуально; но где же пружина его жизни, исходный пункт его индивидуальности? где? Они *замкнуты* в нем, и потому оно есть совершенно целое, оконченное, словом — *замкнутое в самом себе* органическое существо. Но растение связано с землею, в которой первоначально развивается и из которой получает питание, дающее ему материалы для развития и поддержания его бытия; посмотрите на животное: оно одарено способностью произвольного движения, оно всего носит себя с самим собою; оно есть и растение, которое растет из почвы и на почве, оно есть и почва, из которой и на которой растет. Смотря на него извне, мы видим явление; вскрыв его организм, мы видим источник явления: там кости связаны сухими жилками, сгибы членов смазаны п^асокою, которая заготавливается в особых ж^елеззах, мускулы протканы нервами... Но и тут вы еще не всё видите: возьмите микроскоп, увеличивающий в миллион раз, — и вас поразит благоговейным изумлением эта бесконечность организации: вы увидите, что и тысячи ваших жизней недостаточно, чтобы только перечислить эти тончайшие нити, полные первосущных сил природы, — и каждая ниточка, каждая фибра необходима для целого и не может быть ни исключена, ни заменена без искажения целой формы; между малейшими органами нет и такого пустого пространства, где бы мог улесться невидимый для простого глаза атом; все внутреннее так тесно и неразрывно слито с внешнею формою, что одно замыкает в себе другое, а целое есть замкнутое в самом себе существо... Человек представляет в этом отношении несравненно высшее и поразительнейшее зрелище: сообщенный и слитый со всею природою и тайною жизни природы, — он во всем, вне себя, видит осуществившиеся законы собственного разума, и великое *всё* нашло в нем свой орган, отделившись в нем от самого себя, чтобы взглянуть на себя и сознать себя. *Общее* и *безразличное* стало в нем *частным* и *особным*, чтобы чрез эту *частность* и *особность* снова возвратиться к своей *общности*, сознав ее. Закон *обособления* и *замкнутости* в частном явлении общего есть основной закон мировой жизни!.. И в искусстве он открывается с таким же полновластием, как и в природе: в уразумении тайны закона обособления заключается разгадка тайны искусства. Творческая мысль, запав в душу художника, *организуется* в полное, целостное, оконченное, особое и замкнутое в себе художественное произведение. Обратите все ваше внимание на слово «организуется»: только органическое развивается из самого себя, только развивающееся из самого себя является целостным и особым с частями пропорционально и живо сочлененными и подчиненными одному общему. Вот почему, например, роман Вальтера Скотта, наполненный таким множеством действующих лиц, нисколько не похожих одно на другое, представляющий такое сцепление разнообразных происшествий, столкновений и случаев, поражает вас одним *общим* впечатлением, дает вам созерцание чего-то единого, — вместо того чтобы спутать и сбить вас этим калейдоскопическим множеством характеров и событий. По той же причине и каждое лицо в романе существует для вас само по себе; вы видите его перед собою во весь рост, во всей его характеристической особенности, и никогда уже не забудете его, а если и забудете, то, перечитывая роман вновь, хотя бы через двадцать лет, тотчас увидите, что это лицо вам знакомо, что вы где-то уже видели его. Но *целое* романа — его колорит, его индивидуальная особенность, его *нечто*, для выражения которого нет слова, — еще памятнее вам, нежели каждое слово в особенности: уже и лица всех романов и содержания

их изгладились из вашей памяти, но с словами: «Ламермурская невеста», «Ивангое», «Шотландские пуритане» и пр. никогда не перестанут для вас соединяться совершенно различные понятия... Как какое-то неясное видение, как аккорд, внезапно в вышине раздавшийся, как благоухание, мимо вас мгновенно пронесшееся, будет вам, как в тумане, представляться *индивидуальная общность* каждого романа...

Все сказанное нами очень нетрудно приложить к роману г. Лермонтова. Для этого мы должны проследить в его содержании, уже хорошо известном читателям, развитие основной мысли.

Роман начинается описанием переезда автора из Тифлиса чрез Кайшаурскую долину. Не утомляя скучными подробностями, знакомит он нас с местностью. Очерки его столько же кратки, сколько и резки, а главное — они набросаны как будто бы мимоходом. В то время, как его тележку тащили в гору шесть быков и несколько осетин, он заметил, что за его тележкой двигалась другая, которую тащили четыре быка, а за нею шел ее хозяин, куря из маленькой трубочки. Это был офицер, лет пятидесяти, с смуглым лицом и преждевременно поседевшими усами, которые не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Автор подошел к нему и поклонился: тот молча ответил на его поклон, пустив огромный клуб дыма.

— Мы с вами попутчики, кажется?

Он молча опять поклонился.

— Вы, верно, едете в Ставрополь?

— Так-с точно... с казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.

— Вы, верно, недавно на Кавказе?

— С год, — отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

— А что ж?

— Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их знает, что они кричат? Быки-то их понимают, запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё ни с места... Ужасные плуты! А что ж с них возьмешь?... Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

— А вы давно здесь служите?

— Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче, — отвечал он приосанившись. — Когда он приехал на линию, я был подпоручиком, — прибавил он, — и при нем получил два чина за дела против горцев.

— А теперь вы?..

— Теперьчитаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?

Я сказал ему.

Таким образом завязалось у автора знакомство с одним из интереснейших лиц его романа — с *Максимом Максимычем*, с этим типом старого кавказского служаки, закаленного в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у которого чудесная душа, золотое сердце. Это тип чисто русский, который художественным достоинством создания напоминает оригинальнейшие из характеров в романах Вальтера Скотта и Купера, но который, по своей новостности, самобытности и чисто русскому духу, не походит ни на один из них. Искусство поэта должно состоять в том, чтобы развить на деле задачу: как данный природою характер должен образоваться при обстоятельствах, в которые поставит его судьба. Максим Максимыч получил от природы человеческую душу, человеческое сердце, но эта душа и это сердце отлились в особую форму, которая так и говорит вам о многих годах тяжелой и трудной службы, о кровавых битвах, о затворнической и однообразной жизни в недоступных горных крепостях, где нет других человеческих лиц, кроме подчиненных солдат да заходящих для мены черкесов. И все это высказывается в нем не в грубых поговорках, вроде «черт возьми», и не в военных восклицаниях, вроде «тысяча бомб», беспрестанно повторяемых, не в попойках и не в курении табака; а во взгляде на вещи,

приобретенном навыком и родом жизни, и в этой манере поступков и выражения, которые должны быть необходимым результатом взгляда на вещи и привычки. Умственный кругозор Максима Максимыча очень ограничен; но причина этой ограниченности не в его натуре, а в его развитии. Для него «жить» значит «служить», и служить на Кавказе: «азиаты» его природные враги: он знает по опыту, что все они большие плуты и что самая их храбрость есть отчаянная удаля разбойничья, подстрекаемая надеждою грабежа, он не дается им в обман, и ему смертельно досадно, если они обманут новичка и еще выманят у него на водку. И это совсем не потому, чтобы он был скуп, — о нет! он только беден, а не скуп, и сверх того, кажется, и не подозревает цены деньгам, но он не может видеть равнодушно, как плуты «азиаты» обманывают честных людей. Вот чуть ли не все, что он видит в жизни, или по крайней мере о чем чаще всего говорит. Но не спешите вашим заключением о его характере, познакомьтесь с ним получше, — и вы увидите, какое теплое, благородное, даже нежное сердце бьется в железной груди этого, по-видимому, очерстневшего человека; вы увидите, как он каким-то инстинктом понимает все человеческое и принимает в нем горячее участие; как вопреки собственному сознанию душа его жаждет любви и сочувствия, — и вы от души полюбите простого, доброго, грубого в своих манерах, лаконического в словах Максима Максимыча.

Опытный штабс-капитан не ошибся: осетинцы обступили неопытного офицера и громко требовали на водку. Но Максим Максимыч грозно прикрикнул на них и заставил разбежаться. «Ведь этакой народ! — сказал он, — и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: „Офицер, дай на водку!“... Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие».

Вот, наконец, путешественники наши добрались до станции и вошли в саклю, переднее отделение которой было наполнено коровами и овцами, а другое людьми, сидевшими возле огня, разложенного на земле. По полу расстился дым, обратно вталкиваемый ветром из отверстия в потолке. Наши путники закурили трубки, внимая приветливому шипению чайника.

— Жалкие люди! — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остоленении.

— Преглупый народ! — отвечал он. — Поверите ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного <кинжала> ни на ком не увидишь. *Уж подлинно осетины!*

— А вы долго были в Чечне?

— Да, я лет десяток стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, — знаете?

— Слышал.

— Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы, нынче, слава богу, смиреннее, а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди — либо аркан на шею, либо пуля в затылке. *А молодцы!..*

— А, чай, много с вами бывало приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался.

И вот Максим Максимыч весь перед вами, с своим взглядом на вещи, с своим оригинальным способом выражения! Вы еще так мало видели его, так мало познакомились с ним, а уже перед вами не призрак, волею или неволею принужденный автором служить связью или вертеть колесо его рассказа, а типическое лицо, оригинальный характер, живой человек! Так осуществляют свои идеалы истинные художники: две, три черты — и перед вами, как живая, словно наяву, стоит такая характеристическая фигура, которой вы уже никогда не забудете... «Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался»: как много сказано в этих немногих, простых словах, какую резкую черту проводят они по физиономии Максима Максимыча, как много обещают, как сильно разманивают любопытство читателя!..

Приняв поданный ему стакан чая, Максим Максимыч отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывает!» Но мы еще должны несколько поговорить словами самого автора:

Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет *здравствуйте* (потому что фельдфебель говорит *здравия желаю*). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

— Не хотите ли подбавить рома? — сказал я моему собеседнику, — у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

— Нет-с, благодарствуйте, не пью.

— Что так?

— Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога, вот мы и вышли перед фронт навеселе, да уж и досталось нам, когда Алексей Петрович узнал: не дай Господи, как он рассердился! Чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка — пропавший человек!

Услышав это, я почти потерял надежду.

— Да вот хоть черкесы, — продолжал он, — как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилиу ноги унес, а еще у мирно́ва князя был в гостях.

— Как же это случилось?

Вот начало поэтической истории «Бэлы». Максим Максимыч рассказал ее по-своему, своим языком; но от этого она не только ничего не потеряла, но бесконечно много выиграла. Добрый Максим Максимыч, сам того не зная, сделался поэтом, так что в каждом его слове, в каждом выражении заключается бесконечный мир поэзии. Не знаем, чему здесь более удивляться: тому ли, что поэт, заставив Максима Максимыча быть только свидетелем рассказываемого им события, так тесно слил его личность с этим событием, как будто бы сам Максим Максимыч был его героем; или тому, что он сумел так поэтически, так глубоко взглянуть на событие глазами Максима Максимыча и рассказать это событие языком простым, грубым, но всегда живописным, всегда трогательным и потрясающим даже в самом комизме своем?..

Когда Максим Максимыч стоял в крепости за Тереком, к нему вдруг явился офицер, прикомандированный к его крепости.

— Его звали... Григорьем Александровичем *Печориным*, славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все иззябнут, устанут, а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате: ветер пахнет — уверяет, что простудился, ставнем стукнет, он вздрагивает и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда, как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха. Да-с, с большими странностями, и, должно быть, богатый человек; сколько у него было разных дорогих вещей...

— А долго ли он с вами жил? — спросил я опять.

— Да, с год. Ну, да уж зато памятен мне этот год: наделал он много хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

— Необыкновенные! — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу.

Недалеко от крепости жил мирно́й князь, сын которого, мальчик лет пятнадцати, повадился ездить в крепость. Печорин и Максим Максимыч любили и баловали его. Это был прототип черкеса, без преувеличения и без искажения. Головорез, *проворный на все*, по словам Максима Максимыча: он поднимал шапку на всем скаку, мастерски стрелял из ружья и был ужасно падок на деньги. Если его дразнили, глаза его наливались кровью, а рука хваталась за кинжал. «Эй, Азамат, — говаривал ему Максим Максимыч, — не сносить тебе головы: яман будет твоя башка!»

Однажды старый князь приехал в крепость и позвал Максима Максимыча и Печорина на свадьбу своей дочери. Когда они приехали в аул, прятавшиеся от них женщины не показались красавицами Печорину. «Погодите, сказал я, усмехаясь (говорил Максим Максимыч). У меня было свое на уме».

Из этого места рассказа Максима Максимыча можно получить самое верное понятие о нравах и обыкновениях диких черкесов, хотя для их описания он и не делает отступлений.

Как к почетному гостю, к Печорину подошла меньшая дочь хозяина, прекрасная девушка лет шестнадцати, и пропела ему...

— Как бы сказать?... вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду».

Печорин встал, приложил руку ко лбу и сердцу, а Максим Максимыч перевел ей его ответ, ибо он хорошо знал *по-ихнему*. «Какова?» — шепнул он Печорину. — Прелесть! А как ее зовут? — «Бэлою».

«И точно (говорил Максим Максимыч), она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали вам в душу». Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, но не один он смотрел на нее. В числе гостей был черкес Казбич. Он был и мирным и немирным, смотря по обстоятельствам; подозрений было на него множество, хоть он не был замечен ни в какой шалости. Но мы почитаем необходимым вполне обрисовать это лицо, и именно словами Максима Максимыча.

Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: ворона как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы, а какая сила! скачи хоть на 50 верст; а уж выезжена — как собака бежит за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее обыкновенного, и Максим Максимыч, заметив, что у него под бешметом надета кольчуга, тотчас подумал, что это недаром. Так как в сакле стало душно, он вышел освежиться и вздумал кстати проведать лошадей. Тут, за забором, он подслушал разговор: Азамат похваливал лошадь Казбича, на которую давно зарился, а Казбич, подстрекнутый этим, рассказывал о ее достоинствах и услугах, которые она ему оказала, не раз спасая его от верной смерти. Это место повести вполне знакомит читателя с черкесами как с племенем, и в нем могучею художническою кистью обрисованы характеры Азамата и Казбича, этих двух резких типов черкесской народности. «Если б у меня был табун в тысячу кобыл, то отдал бы весь за твоего Карагёза», — сказал Азамат. «Йок, не хочу», — равнодушно отвечал Казбич. Азамат льстит ему, обещает украсть у отца лучшую винтовку или шашку, которая, только приложи руку к лезвию, сама впивается в тело, кольчугу... В его словах так и дышит знойная, мучительная страсть дикаря и разбойника по рождению, для которого нет ничего в мире дороже оружия или лошади и для которого желание — медленная пытка на малом огне, а для удовлетворения жизнь собственная, жизнь отца, матери, брата — ничто. Он говорил, что с тех пор, как в первый раз увидел Карагёза, когда он кружился и прыгал под Казбичем, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, что с тех пор в его душе сделалось что-то непонятное, все ему опостылело... Можно подумать, что он рассказывал о любви или ревности, чувствах, которых действие часто бывает так страшно и в людях образованных, а тем страшнее в дикарях. «На лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением (говорил Азамат), стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим является вороной скакун твой, с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его!» Проговорив это дрожащим голосом, он заплакал. Так по крайней мере показалось Максиму Максимычу, который знал Азамата как преупрямого мальчишку, у которого ничем нельзя было вышибить слез, когда он был и

моложе. Но в ответ на слезы Азамата послышалось что-то вроде смеха. «Послушай! — сказал твердым голосом Азамат, — видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?..»

Казбич долго молчал и, наконец, вместо ответа, затащил вполголоса старинную песню, в которой коротко и ясно выражена вся философия черкеса:

Много красавиц в аулах у нас.
Звезды сияют во мраке их глаз,
Сладко любить их, завидная доля.
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Напрасно Азамат упрашивал, плакал, льстил ему. «Пооди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне! На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок о камни!» — «Меня!» — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело о кольчугу. Казбич оттолкнул его так, что он упал и ударился головою о плетень. «Будет потеха!» — подумал Максим Максимыч, взнуздal коней и вывел их на задний двор. Между тем Азамат вбежал в саклю в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Поднялся гвалт, раздались выстрелы, но Казбич уже вертелся на своем коне среди улицы и ускользнул.

Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся — такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? расскажите, пожалуйста.

— Ну уж нечего делать, начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приехал в крепость Азамат. Печорин начал ему расхваливать лошадь Казбича. У татарчонка засверкали глаза, а Печорин будто не замечает; Максим Максимыч заговорит о другом, а Печорин сведет разговор на лошадь. Это продолжалось недели три; Азамат видимо бледнел и чахнул. Короче: Печорин предложил ему чужого коня за его родную сестру; Азамат задумался: не жалость к сестре, а мысль о мщении отца потревожила его, но Печорин кольнул его самолюбие, назвав ребенком (название, которым все дети очень оскорбляются!), а Карагёз — такая чудная лошадь!.. И вот однажды Казбич приехал в крепость и спрашивает, не надо ли баранов и меда: Максим Максимыч велел привезти на другой день. «Азамат! сказал Печорин, завтра Карагёз в моих руках: если нынче ночью Бэла не будет здесь, не видать тебе коня!» Хорошо, сказал Азамат, поскакал в аул, и в тот же вечер Печорин возвратился в крепость вместе с Азаматом, у которого поперек седла (как видел часовой) лежала женщина с связанными ногами и руками, с головою, опутанною чадрой. На другой день Казбич явился в крепость с своим товаром; Максим Максимыч попотчевал его чаем, и потому что (говорил он) хотя разбойник он, «а все-таки был моим кунаком». Вдруг Казбич посмотрел в окно, вздрогнул, побледнел, и с криком: «Моя лошадь! лошадь!» выбежал вон, перескочил через ружье, которым часовой хотел загородить ему дорогу. Вдали скакал Азамат: Казбич выхватил из чехла ружье, выстрелил и, уверившись, что дал промах, завизжал, вдребезги разбил ружье о камень, повалился на землю и зарыдал, как ребенок. Так пролежал он до поздней ночи и целую ночь, не дотрагиваясь до денег, которые велел положить подле него

Максим Максимыч за баранов. На другой день, узнавши от часового, что похититель был Азамат, он засверкал глазами и отправился отыскивать его. Отца Бэлы в это время не было дома, а возвратившись, он не нашел ни дочери, ни сына.

Как только Максим Максимыч узнал, что черкешенка у Печорина, он надел эполеты, шпагу и пошел к нему. Здесь следует сцена такая прекрасная, что мы не можем удержаться, чтобы не пересказать ее устами самого Максима Максимыча:

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил... Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, только он притворился, будто не слышит.

— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже. — Разве вы не видите, что я к вам пришел.

— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? — отвечал он, не приподымаясь.

— Извините. Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая меня мучит забота!

— Я все знаю, — отвечал я, подошел к кровати.

— Тем лучше, я не в духе рассказывать.

— Г-н прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...

— И, полноте, что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.

— Что за шутки, пожалуйста вашу шпагу!

— Митька, шпагу!

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо».

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, — сказал я ему.

— Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это? Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания, я ему сказал, что, если отец станет требовать, надо будет ее отдать.

— Вовсе не надо!

— Да он узнает, что она здесь?

— А как он узнает?

Я опять стал в тупик.

— Послушайте, Максим Максимыч! — сказал Печорин, приподнявшись, — ведь вы добрый человек, а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охоту портить: оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

— Да покажите мне ее, — сказал я.

— Она за этою дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит, пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня! — прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился... Что же прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно согласиться.

Нет ничего тяжелее и неприятнее, как излагать содержание художественного произведения. Цель этого изложения не состоит в том, чтоб показать лучшие места: как бы ни было хорошо место сочинения, оно хорошо по отношению к целому, следовательно, изложение содержания должно иметь целию — проследить идею целого создания, чтобы показать, как верно она осуществлена поэтом. А как это сделать? Целого сочинения переписать нельзя; но каково же выбирать места из превосходного целого, пропускать иные, чтобы выписки не перешли должных границ? И потом, каково связывать выписанные места своим прозаическим рассказом, оставляя в книге тени и краски, жизнь и душу и держась одного мертвого скелета? Теперь мы особенно чувствуем всю тяжесть и неудобоисполнимость взятой нами на себя обязанности. Мы и до сего места терялись во множестве прекрасных частных, а теперь, когда начинается важнейшая часть повести, теперь нам так и хотелось бы выписать от слова до слова весь рассказ автора, в котором каждое слово так бесконечно значительно, так глубоко знаменательно, дышит такою поэтической жизнью, блестит таким роскошным богатством красок; а между тем мы по-прежнему принуждены *пересказывать* по-своему, сколько возможно держась выражений подлинника и выписывая места.

Холодно смотрела Бэла на подарки, которые каждый день приносил ей Печорин, и гордо отталкивала их. Долго безуспешно ухаживал он за нею. Между тем он учился по-

татарски, а она начинала понимать по-русски. Она стала изредка и посматривать на него, но все исподлобья, искоса, и все грустила, напевала свои песни вполголоса, «так что (говорил Максим Максимыч), бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты». Уговаривая ее полюбить себя, Печорин спросил ее, не любит ли она какого-нибудь чеченца, и прибавил, что в таком случае он сейчас отпустит ее домой. Она вздрогнула едва приметно и покачала головой... «Или я тебе совершенно ненавистен?» Она вздохнула. «Или твоя вера запрещает полюбить меня?» Она побледнела и молчала. Потом он ей сказал, что Аллах один для всех племен и что если он ему позволил полюбить ее, то почему же запретит ей полюбить его. Этот довод, казалось, поразил ее, и в ее глазах выразилось желание убедиться. «Если ты будешь грустить, говорил он ей, я умру. Скажи, ты будешь веселей?» Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтобы она его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: *«Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада!»* Какая грациозная и, в то же время, какая верная натуре черта характера! Природа нигде не противоречит себе, и глубокость чувства, достоинство и грациозность непосредственности так же иногда поражают и в дикой черкешенке, как и в образованной женщине высшего тона. Есть манеры столь грациозные, есть слова столь благоухающие, что одного или одной из них достаточно, чтобы обрисовать всего человека, выказать наружу все, что кроется внутри его. Не правда ли: слыша это милое, простодушное *«поджалуста, поджалуста, не нада, не нада!»*, вы видите перед собою эту очаровательную чернооку Бэлу, полудикую дочь вольных ущелий, и вас так обаятельно поражает в ней эта гармония, эта особенность женственности, которая составляет всю прелесть, все очарование женщины?..

Он стал настаивать, она задрожала и заплакала. «Я твоя пленница, твоя раба, — говорила она, — конечно, ты можешь меня принудить» — и опять слезы. «Дьявол, а не женщина! — сказал он Максиму Максимычу, — только я даю вам мое честное слово, что она будет моя».

Однажды он вошел к ней, одетый по-черкесски и вооруженный, и сказал ей, что он виноват перед нею, что он оставляет ее хозяйкой всего, что имеет, дает ей волю и сам идет куда глаза глядят, может быть, под пулю...

Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль, такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал, и сказать ли вам? — я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек. Бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то, чтоб заплакал, а так, глупость!

Штабс-капитан замолчал.

— Да, признаюсь, — сказал он потом, теребя усы, — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

Скоро узнал счастливый Печорин, что Бэла полюбила его с первого взгляда. Да, это была одна из тех глубоких женских натур, которые полюбят мужчину тотчас, как увидят его, но признаются ему в любви не тотчас, отдадутся нескоро, а отдавшись, уже не могут больше принадлежать ни другому, ни самим себе... Поэт не говорит об этом ни слова, но потому-то он и поэт, что, не говоря *никого*, дает знать *всё*...

Они были счастливы, но не завидуйте им, читатель: кто смеет надеяться на прочное счастье в этой жизни?.. Минута ваша, ловите же ее, не надеясь на будущее. Не долго продолжалось и твое блаженство, бедная, милая Бэла!..

Вскоре Печорин и Максим Максимыч узнали, что отец Бэлы был убит Казбичем, подозревавшим его в участии в похищении Карагёза. От Бэлы долго скрывали это, пока она не привыкла к своему положению; когда же ей сказали, она дня два поплакала, а потом забыла.

Четыре месяца все шло хорошо. Печорин так любил Бэлу, что забыл для нее и охоту и не выходил за крепостной вал. Но вдруг стал он задумываться, ходить по комнате, заложив руки на спину. Однажды, никому не сказавшись, отправился на охоту и пропадал целое утро, потом опять, и все чаще и чаще. «Нехорошо (подумал Максим Максимыч): верно между ними пробежала черная кошка!» Одно утро он зашел к ним и увидел Бэлу такую бледненькою, такую печальною, что испугался. Он стал ее утешать. Сообщая ему свои страхи и опасения, она сказала ему:

— А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! — Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, я княжеская дочь!..

Утешая ее, Максим Максимыч заметил ей, что если она будет грустить, то скорее наскучит Печорину.

— Правда, правда, — отвечала она, — я буду весела! — И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня: только и это не было продолжительно, она упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было мне с нею делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался: думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!

Вышедши с нею прогуляться за крепость, Максим Максимыч увидел черкеса, который вдруг выехал из леса и, саженьях во сто от них, начал как бешеный кружиться: Бэла узнала в нем Казбича...

Наконец Максим Максимыч объяснился с Печориным насчет его охлаждения к Бэле, и вот какой получил от него ответ:

«Послушайте, Максим Максимыч: у меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю, знаю только то, что если я причиною несчастья других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение, только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц, и был любим, но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели: я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательною судьбою... Я опять ошибся: любовь никак не немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю, но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть, больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь — только не в Европу, избави Боже! поеду в Америку, в Аравию, в Индию, авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от 25-летнего человека и, Бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, — вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое, что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду, что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою

и улыбнулся лукаво.

— А все, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— Ага! Вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Итак, Печорин охладел к бедной Бэле, которая любила его еще больше. Он не знает сам причины своего охлаждения, хотя и силится найти ее. Да, нет ничего труднее, как разбирать язык собственных чувств, как знать самого себя! И объяснения автора для нас так же неудовлетворительны, как и для Максима Максимыча, которому он их сообщил. Может быть, и тут та же причина, и в отношении к автору, и в отношении к нам: нет ничего труднее, как знать и понимать самих себя!.. Но тем не менее мы предложим и наше решение, или, лучше сказать, и наше гадание, об этом столько же общем, сколько и грустном феномене человеческого сердца, который особенно част и поразителен в современном обществе. В числе причин скорого охлаждения Печорина к Бэле не было ли причиною его и то, что для бессознательного, чисто естественного, хотя и глубокого чувства черкешенки Печорин был полным удовлетворением, далеко превосходящим самые дерзкие ее требования; тогда как дух Печорина не мог найти своего удовлетворения в естественной любви полудикого существа. К тому же ведь одно наслаждение далеко еще не составляет всех потребностей любви, и что могла дать Печорину любовь, кроме наслаждения? О чем мог он говорить с нею? что оставалось для него в ней неразгаданного? Для любви нужно разумное содержание, как масло для поддержки огня; любовь есть гармоническое слияние двух родственных натур в чувство бесконечного. В любви Бэлы была сила, но не могло быть бесконечности: сидеть с глаза на глаз с возлюбленным, ласкаться к нему, принимать его ласки, предугадывать и ловить его желания, млеть от его лобзаний, замирать в его объятиях, — вот все, чего требовала душа Бэлы; при такой жизни и вечность показалась бы для нее мгновением. Но Печорина такая жизнь могла увлечь не больше как на четыре месяца, и еще надо удивляться силе его любви к Бэле, если она была так продолжительна. Сильная потребность любви часто принимается за самую любовь, если представится предмет, на который она может устремиться; препятствия превращают ее в страсть, а удовлетворение уничтожает. Любовь Бэлы была для Печорина полным бокалом сладкого напитка, который он и выпил зараз, не оставив в нем ни капли; а душа его требовала не бокала, а океана, из которого можно ежеминутно черпать, не уменьшая его...

Однажды Печорин отправился с Максимом Максимычем на охоту за кабаном. С раннего утра часов до десяти напрасно искали они его; Максим Максимыч уговаривал своего товарища воротиться, не тут-то было: несмотря ни на зной, ни на усталость, тот не хотел воротиться без добычи. «Таков уж был человек: что задумает, подавай; видно, в детстве был маленький избалован». Однако ж после полудня они без ничего подъезжали к крепости. Вдруг выстрел: оба они взглянули друг на друга и опрометью поскакали на выстрел. Солдаты в кучку собрались на валу и указывали в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Это был Казбич, похитивший неосторожную Бэлу, которая вышла за крепость к реке. Печорину удалось ранить в ногу его коня. Казбич занес руку над Бэлою, Максим Максимыч выстрелил и, кажется, ранил его в плечо; дым рассеялся — на земле лежала раненая лошадь, и возле нее Бэла, а Казбич, как кошка, карабкался на утес и скоро скрылся. Они к Бэле — она была ранена, и кровь лилась из раны ручьями...

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уже с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. — «Я здесь, подле тебя, моя джанечка» (то есть по-нашему, душенька), — отвечал он, взяв ее за руку. — «Я умру!» — сказала она. — Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; — она покачала головой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробежала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о

Печорине, давая ему разные нежные названия, или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку.

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его; в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру, когда прошел бред, она начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Печорина, и что иная женщина будет в раю его подругою... Максим Максимыч предложил ей окреститься; долго она молчала в нерешимости и, наконец, отвечала, что умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел день — страдания ужасно изменили ее прекрасное лицо. Когда боль утихала и она переставала стонать, то уговаривала Печорина идти спать, целовала его руку...

Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... *Нет, она хорошо сделала, что умерла! Ну, что бы с ней случилось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно...*

Перед смертью хриплым голосом закричала она: «Воды! воды!»

Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в госпиталях и на поле сражения, только все это не то, совсем не то!.. Еще признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а, кажется, я ее любил как отец... Ну, да Бог ее простит!.. И вправду молвить: что же я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам — гладко... Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно. Я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на земле, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха. Я пошел заказывать гроб.

.....

На другой день, рано утром, мы ее похоронили за крепостью, у вала, где она в последний раз сидела; кругом ее могилы разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: все-таки она была не христианка...

— А что Печорин? — спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка: только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что это будет ему неприятно, так зачем же? — Месяца три спустя, его назначили в е...й полк. Мы с тех пор не встречались... Да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже — вероятно, для того, чтобы заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его, и не слушал.

Просим извинения за множество выписок и у автора и у тех из читателей, которые прочтут нашу статью прежде романа: заманчивость первого чтения, сила и прелесть первого впечатления будут для них навсегда потеряны. Впрочем, едва ли кто и не читал «Бэлы»; она напечатана в «Отечественных записках» еще в прошедшем году, да и самый роман давно уже вышел в свет. Что же касается до тех, которые прочтут нашу статью уже после романа, у них через это почти ничего не отнимается; напротив, если мы только хорошо сделали наше дело, они вновь переувствуют уже испытанное наслаждение, и еще с большею силою. Во всяком случае нам не было никакой возможности избежать этих выписок. Мы хотели, чтобы в нашем изложении содержания романа видны были и характеры действующих лиц, и сохранена была внутренняя жизненность рассказа, равно как и его колорит; а этого невозможно было сделать, показав один скелет содержания или его отвлеченную мысль. Да и в чем содержание повести? Русский офицер похитил черкешенку, сперва сильно любил ее, но скоро охладил к ней; потом черкес увез было ее,

но, видя себя почти пойманным, бросил ее, нанеся ей рану, от которой она умерла: вот и все тут. Не говоря о том, что тут очень немного, тут еще нет и ничего ни поэтического, ни особенного, ни занимательного, а все обыкновенно, до пошлости, истерто. Но что же необыкновенного или поэтического, например, и в содержании Шекспирова «Отелло»? Мавр убил страстно любимую им жену из ревности, которую с умыслом возбудил в нем хитрый злодей: разве и это тоже не истерто и не обыкновенно до пошлости? Разве не было написано тысячи повестей, романов, драм, содержание которых — муж или любовник, убивающий из ревности невинную жену или любовницу? Но из всей этой тысячи только одного «Отелло» знает мир и одному ему удивляется. Значит: содержание не во внешней форме, не в сцеплении случайностей, а в замысле художника, в тех образах, в тех тенях и переливах красот, которые представлялись ему еще прежде, нежели он взялся за перо, словом — в *творческой концепции*. Художественное создание должно быть вполне готово в душе художника прежде, нежели он возьмется за перо: написать для него уже — второстепенный труд. Он должен сперва видеть перед собою лица, из взаимных отношений которых образуется его драма или повесть. Он не обдумывает, не расчисляет, не теряется в соображениях: все выходит у него само собою, и выходит так, как должно. Событие разворачивается из идеи, как растение из зерна. Потому-то и читатели видят в его лицах живые образы, а не призраки, радуются их радостями, страдают их страданиями, думают, рассуждают и спорят между собою о их значении, их судьбе, как будто дело идет о людях, действительно существовавших и знакомых им. Этого нельзя сделать, сперва придумавши отвлеченное содержание, то есть какую-нибудь завязку и развязку, а потом уже придумавши лица и волею или неволею заставивши их играть сообразные с сочиненною целию роли. Вот почему изложение содержания так затруднительно для критика, и без выписок нельзя ему обойтись: надо сделать его кратко и заставить говорить само за себя разбираемое творение.

Глубокое впечатление оставляет после себя «Бэла»: вам грустно, но грусть ваша легка, светла и сладостна; вы летите мечтою на могилу прекрасной, но эта могила не страшна: ее освещает солнце, омывает быстрый ручей, которого ропот, вместе с шелестом ветра в листьях бузины и белой акации, говорит вам о чем-то таинственном и бесконечном, и над нею, в светлой вышине, летает и носится какое-то прекрасное видение, с бледными ланитами, с выражением укора и прощения в черных очах, с грустной улыбкой... Смерть черкешенки не возмущает вас безотрадным и тяжелым чувством, ибо она явилась не страшным скелетом, по произволу автора, но вследствие разумной необходимости, которую вы предчувствовали уже, и явилась светлым ангелом примирения. Диссонанс разрешился в гармонический аккорд, и вы с умилением повторяете простые и трогательные слова доброго Максима Максимыча: «Нет, она хорошо сделала, что умерла! ну, что бы с ней случилось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно!...»

И с каким бесконечным искусством обрисован грациозный образ пленительной черкешенки! Она говорит и действует так мало, а вы живо видите ее перед глазами во всей определенности живого существа, читаете в ее сердце, проникаете все изгибы его...

А Максим Максимыч, этот добрый простак, который и не подозревает, как глубока и богата его натура, как высок и благороден он? Он, грубый солдат, любит Бэлою, как прекрасным дитятею, любит ее, как милую дочь — и за что? — спросите его, так он ответит вам: «Не то, чтобы любил, а так — глупость!» Ему досадно, что его ни одна женщина не любила так, как Бэла Печорина; ему грустно, что она не вспомнила о нем перед смертью, хоть он и сам сознается, что это с его стороны не совсем справедливое требование... Останавливаться ли на этих чертах, столь полных бесконечностию? Нет, они говорят сами за себя; а те, для кого они немые, те не стоят, чтоб тратить с ними слова и время. Простая красота, которая есть одна истинная красота, не для всех доступна: у большей части людей глаза так грубы, что на них действует только пестрота, узорочность и красная краска, густо и ярко намазанная...

Характеры Азамата и Казбича — это такие типы, которые будут равно понятны и англичанину, и немцу, и французу, как понятны они русскому. Вот что называется рисовать фигуры во весь рост, с национальной физиономией и в национальном костюме!..

Обратите еще внимание на эту естественность рассказа, так свободно развивающегося, без всяких натяжек, так плавно текущего собственной силою, без помощи автора. Офицер, возвращающийся из Тифлиса в Россию, встречается в горах с другим офицером; одиночество дорожного положения дает одному право начать разговор с другим и так естественно доводит их до знакомства. Один предлагает чай с ромом — тот отказывается, говоря, что по одному случаю он зарекся пить. Очень естественно, что, сидя в дымной и гадкой сакле, путешественник заводит с товарищем разговор об обитателях сакли: товарищ этот — пожилой офицер, много лет проводивший на Кавказе, естественно, очень охотно разговорился об этом предмете. Вопрос молодого офицера: «А что, много с вами бывало приключений?» так же естествен, как и ответ пожилого: «Как не бывать! бывало...» Но это не приступ к повести, а только еще, как и должно, слабая надежда услышать повесть: автор не погоняет обстоятельств, как лошадей, но дает им самим развиваться. Он предлагает Максиму Максимычу чай с ромом: тот отказывается от рома, говоря, что зарекся пить. Вопрос: «Почему?» молодого офицера так же не может быть сочтен натяжкой, как отклик человека, когда его зовут. Ответ Максима Максимыча, в котором он говорит о случае, заставившем его заречься пить вино, уже ожидается самим читателем. Случай этот чисто кавказский: офицеры пировали, как вдруг сделалась тревога. Но рассуждение Максима Максимыча, что иногда год живи — тревоги нет, «да как тут еще водка — пропавший человек», отнимает всякую надежду на повесть; как вдруг он обращается к черкесам, которые, если напьются бузы, так и начнут рубиться, и очень естественно вспоминает один случай. Он и расположен его рассказать, но как бы не хочет навязываться с рассказами. Молодой офицер, которого любопытство давно уже сильно возбуждено, но который умеет умерить его приличием, с притворным равнодушием спрашивает: «Как же это случилось?» — Вот извольте видеть и — повесть началась. Исходный пункт ее — страстное желание мальчика-черкеса иметь лихого коня, — и вы помните эту дивную сцену из драмы между Азаматом и Казбичем. Печорин человек решительный, алчущий тревог и бурь, готовый рискнуть на все для выполнения даже прихоти своей, — а здесь дело шло о чем-то гораздо большем, чем прихоть. Итак, все вышло из характеров действующих лиц, по законам строжайшей необходимости, а не по произволу автора. Но еще повесть была простым анекдотом, и новые знакомые уже пустились в рассуждения по поводу его, как вдруг Максим Максимыч, у которого воспоминание оживило и потребность сообщить его другому возбудилась, как бы говоря с самим собою, прибавил: «Никогда себе не прощу одного: черт дернул меня, приехав в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал сидя за забором; он посмеялся, — такой хитрый! — а сам задумал кое-что». Что может быть естественнее, проще всего этого? Такая естественность и простота никогда не могут быть делом расчета и соображения: они плод вдохновения.

Итак, история Бэлы кончилась; но роман еще только начался, и мы прочли одно вступление, которое, впрочем, и само по себе, отдельно взятое, есть художественное произведение, хотя и составляет только часть целого. Но пойдем далее. В Владикавказе автор опять съехался с Максимом Максимычем. Когда они обедали, на двор въехала щегольская коляска, за которою шел человек. Несмотря на грубость этого человека, «балованного слуги ленивого барина», Максим Максимыч допросился у него, что коляска принадлежит Печорину. «Что ты? Что ты? Печорин?.. Ах, боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?» В глазах Максима Максимыча сверкала радость. «Служил, кажется, да я у них недавно», — отвечал слуга. «Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут? Мы с твоим барином были приятели», — прибавил Максим Максимыч, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться... — Позвольте, сударь: вы

мне мешаете, — сказал тот нахмурившись. «Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? Мы с твоим баринком были друзья закадычные, жили вместе... Да где ж он сам остался?» Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н***. «Да не зайдет ли он вечером сюда? — сказал Максим Максимыч, — или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я дам тебе восьмигривенный на водку...» Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что исполнит его поручение. «Ведь сейчас прибежит!.. — сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом, — пойду за ворота его дожидаться... Эх, жалко, что я не знаком с Н***!»

Итак, Максим Максимыч ждет за воротами. Он отказался от чашки чая и, наскоро выпив одну, по вторичному приглашению, опять выбежал за ворота. В нем заметно было живейшее беспокойство, и явно было, что его огорчало равнодушие Печорина. Новый его знакомый, отворив окно, звал его спать: он что-то пробормотал, а на вторичное приглашение ничего не ответил. Уже поздно ночью вошел он в комнату, бросил трубку на стол, стал ходить, ковырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался... «Не клопы ли вас кусают?» — спросил его новый приятель. «Да, клопы...» — отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром сидел он за воротами. «Мне надо сходить к коменданту, — сказал он, — так, пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной». Но лишь ушел он, как предмет его беспокойства явился. С любопытством смотрел на него наш автор, и результатом его внимательного наблюдения был подробный портрет, к которому мы возвратимся, когда будем говорить о Печорине, а теперь займемся исключительно Максимом Максимычем. Надо сказать, что, когда Печорин пришел, лакей доложил ему, что сейчас будут закладывать лошадей. Здесь мы снова должны прибегнуть к длинной выписке.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастью, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему. «Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я, — то будете иметь удовольствие увидеться с старым приятелем...»

— Ах, точно! — быстро отвечал он, — мне вчера говорили, — но где же он? — Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос вырвались из-под шапки, приклеились ко лбу его; колени его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

— А ты?... а вы?... — пробормотал со слезами на глазах старик... — сколько лет... сколько дней... да куда это?..

— Еду в Персию — и дальше.

— Неужто сейчас?... Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?... Сколько времени не видались...

— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ.

— Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?... Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?... как?... что подельвали?..

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь...

— А помните наше житье-бытье в крепости!.. Славная страна для охотников... Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла!..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. «Мы славно пообедаем, — говорил он, — у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим, вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?...»

— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... — прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. «Забыть! — проворчал он, — я-то не забыл ничего... Ну да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...»

— Ну, полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески, — неужели я не тот же?... что делать?..

Всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться — Бог знает!.. — Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски, — совсем было забыл.. У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где Бог дал свидеться... что мне с ними делать?..

— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...

— Так вы в Персию?.. а когда вернетесь? — кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уже далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли, да и незачем!..

Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, — а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости...

Довольно! не будем выписывать длинного и бессвязного монолога, который проговорил огорченный старик, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам и сверкала на его ресницах. Довольно: Максим Максимыч и так уже весь перед вами... Если бы вы нашли его, познакомились с ним, двадцать лет прожили с ним в одной крепости, и тогда бы не узнали его лучше, мы больше уже не увидимся с ним, а он так интересен, так прекрасен, что грустно так скоро расстаться с ним, и потому взглянем на него еще раз, уже последний...

— Максим Максимыч, — сказал я, подошедши к нему, — а что это за бумаги оставил вам Печорин?

— А бог его знает! какие-то записки...

— Что вы из них сделаете?

— Что? я велю наделать патронов.

— Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю; потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко.

— Вот они все, — сказал он, — поздравляю вас с находкою...

— И я могу делать с ними все, что хочу?

— Хотя в газетах печатайте. Какое мне дело?.. Что, я разве друг его какой или родственник?..

Правда, мы жили долго под одной кровлей... Да мало ли с кем я не жил?..

Схватя и унеся поскорее бумаги из опасения, чтобы Максим Максимыч не раскаялся, наш автор собрался в дорогу, он уже надел шапку, как штабс-капитан вошел... Но нет, воля ваша! а уж надо проститься с Максимом Максимычем как следует, то есть не прежде, как выслушав его последнее слово... Что делать? есть такие люди, с которыми, раз познакомившись, век бы не расстался...

— А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

— Нет-с.

— А что так?

— Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать кой-какие казенные вещи...

— Да ведь вы же были у него?

— Был, конечно, — сказал он, заминаясь, — да его дома не было... а я не дождался...

Я понял его: бедный старик в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для *собственной надобности*, говоря языком бумажным, — и как же он был награжден!

— Очень жаль, — сказал я ему, — очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

— Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. вы молодежь светская, гордая: еще покамест под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретитесь, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

— Да я, знаете, так к слову говорю; а впрочем, желаю вам всякого счастья и веселой дороги.

Засим они довольно сухо расстались; но вы, любезный читатель, верно, не сухо расстались с этим старым младенцем, столь добрым, столь милым, столь *человечным* и столь неопытным во всем, что выходило за тесный кругозор его понятий и опытности? Не правда ли, вы так свыклись с ним, так полюбили его, что никогда уже не забудете его, и если встретите — под грубой наружностью, под корою зачерствелости от трудной и

скудной жизни — горячее сердце, под простою *мещанскою* речью — теплоту души, то, верно, скажете: «Это Максим Максимыч»?.. И дай Бог вам поболее встретить на пути вашей жизни *Максимов Максимычей!*..

И вот мы рассмотрели две части романа — «Бэлу» и «Максима Максимыча»: каждая из них имеет свою особенность и замкнутость, почему каждая и оставляет в душе читателя такое полное, целостное и глубокое впечатление. Героев той и другой повести мы видели в торжественнейших положениях их жизни и коротко их знаем. Первая — повесть; вторая — эскиз характера, и каждая равно полна и удовлетворительна, ибо в каждой поэт умел исчерпать все ее содержание и в типических чертах вывести вовне все внутреннее, крывшееся в ней, как возможность. Что нам за нужда, что во второй нет романического содержания, что она представляет собой не жизнь, а отрывок из жизни человека? Но если в этом отрывке — весь человек, то чего же больше. Поэт хотел изобразить характер и превосходно успел в этом: его *Максим Максимыч* может употребляться не как собственное, но как нарицательное имя наравне с *Онегиными*, *Ленскими*, *Зарецкими*, *Иванами Ивановичами*, *Никифорами Ивановичами*, *Афанасиями Ивановичами*, *Чацкими*, *Фамусовыми* и пр. Мы познакомились с ним еще в «Бэле» и больше уже не увидимся. Но в обеих этих повестях мы видели еще одно лицо, с которым, однако ж, незнакомы. Это таинственное лицо не есть герой этих повестей, но без него не было бы этих повестей: он герой романа, которого эти две повести только части. Теперь пора нам с ним познакомиться, и уже не через посредство других лиц, как прежде: все они его не понимают, как мы уже видели; равным образом и не через поэта, который хоть и один виноват в нем, но умывает в нем руки; а через его же самого: мы готовимся читать его записки. Поэт написал от себя предисловие только к запискам Печорина. Это предисловие составляет род главы романа, как его существеннейшая часть, но, несмотря на то, мы возвратимся к нему после, когда будем говорить о характере Печорина, а теперь прямо приступим к «запискам».

Первое отделение их называется «Тамань» и, подобно первым двум, есть отдельная повесть. Хотя оно и представляет собою эпизод из жизни героя романа, но герой по-прежнему остается для нас лицом таинственным. Содержание этого эпизода следующее: Печорин в Тамани остановился в скверной хате, на берегу моря, в которой он нашел только слепого мальчика лет 14-ти и потом таинственную девушку. Случай открывает ему, что эти люди — контрабандисты. Он ухаживает за девушкою и в шутку грозит ей, что донесет на них. Вечером в тот же день она приходит к нему, как сирена, обольщает его предложением своей любви и назначает ему ночное свидание на морском берегу. Разумеется, он является, но как странность и какая-то таинственность во всех словах и поступках девушки давно уже возбудили в нем подозрение, то он и запасся пистолетом. Таинственная девушка пригласила его сесть в лодку — он было поколебался, но отступить было уже не время. Лодка помчалась, а девушка обвилась вокруг его шеи, и что-то тяжелое упало в воду... Он хват за пистолет, но его уже не было. Тогда завязалась между ними страшная борьба: наконец мужчина победил; посредством осколка весла он добрался кое-как до берега и, при лунном свете, увидел таинственную ундину, которая, спасшись от смерти, отряхалась. Через несколько времени она удалилась с Янко, как видно, своим любовником и одним из главных действующих контрабанды: так как посторонний узнал их тайну, им опасно было оставаться более в этом месте. Слепой тоже пропал, украв у Печорина шкатулку, шашку с серебряной оправой и дагестанский кинжал.

Мы не решились делать выписок из этой повести, потому что она решительно не допускает их: это словно какое-то лирическое стихотворение, вся прелесть которого уничтожается одним выпущенным или измененным не рукою самого поэта стихом: она вся в форме; если выписывать, то должно бы ее выписать всю от слова до слова; пересказывание ее содержания даст о ней такое же понятие, как рассказ, хотя бы и восторженный, о красоте женщины, которой вы сами не видели. Повесть эта отличается каким-то особенным колоритом: несмотря на прозаическую действительность ее

содержания, все в ней таинственно, лица — какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке, при свете зари или месяца. Особенно очаровательна девушка: это какая-то дикая, сверкающая красота, обольстительная, как сирена, неуловимая, как ундина, страшная, как русалка, быстрая, как прелестная тень или волна, гибкая, как тростник. Ее нельзя любить, нельзя и ненавидеть, но ее можно только и любить и ненавидеть вместе. Как чудно хороша она, когда, на крыше своей кровли, с распущенными волосами, защитив глаза ладонью, пристально всматривается вдаль и то смеется и рассуждает сама с собой, то запевает эту полную раздолья и отваги удалую песню:

Как по вольной волюшке
По зеленому морю
Ходят всё кораблики
Белопарусники.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка,
Лодка неснащенная,
Двухвесельная.
Буря ль разыграется —
Старые кораблики
Приподымут крылышки,
По морю размечутся.
Стану морю кланяться
Я низехонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
Мою лодочку:
Везет моя лодочка
Вещи драгоценные,
Правит ею в темну ночь
Буйная головушка».

Что касается до героя романа — он и тут является тем же таинственным лицом, как и в первых повестях. Вы видите человека с сильною волею, отважного, не бледнеющего никакой опасности, напрашивающегося на бури и тревоги, чтобы занять себя чем-нибудь и наполнить бездонную пустоту своего духа, хотя бы и деятельностью без всякой цели.

Наконец вот и «Княжна Мери». Предисловие нами прочитано, теперь начинается для нас роман. Эта повесть разнообразнее и богаче всех других своим содержанием, но зато далеко уступает им в художественности формы. Характеры ее или очерки, или силуэты, и только разве один — портрет. Но что составляет ее недостаток, то же самое есть и ее достоинство, и наоборот. Подробное рассмотрение ее объяснит нашу мысль.

Начинаем с *седьмой* страницы. Печорин в Пятигорске, у Елисаветинского источника, сходится с своим знакомым — юнкером Грушницким. По художественному выполнению это лицо стоит Максима Максимыча: подобно ему, это тип, представитель целого разряда людей, имя нарицательное. Грушницкий — *идеальный молодой человек*, который щеголяет своей идеальностью, как записные франты щеголяют модным платьем, а «львы» ослиною глупостью. Он носит солдатскую шинель из толстого сукна; у него георгиевский солдатский крестик. Ему очень хочется, чтобы его считали не юнкером, а разжалованным из офицеров: он находит это очень эффектным и интересным. Вообще, «производить эффект» — его страсть. Он говорит вычурными фразами. Словом, это один из тех людей, которые особенно пленяют чувствительных, романических и романтических провинциальных *барышень*, один из тех людей, которых, по прекрасному выражению автора записок, «не трогает *просто прекрасное* и которые важно драпируются в

необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания». — «В их душе, — прибавляет он, — часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии». Но вот самая лучшая и полная характеристика таких людей, сделанная автором же журнала: «под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, — иногда тем и другим». Мы к этому очерку прибавим от себя только то, что они страх как любят сочинения Марлинского, и чуть зайдет речь о предметах, сколько-нибудь не житейских, стараются говорить фразами из его повестей. Теперь вы вполне знакомы с Грушницким. Он очень недолгоблудит Печорина за то, что тот его понял. Печорин тоже не любит Грушницкого и чувствует, что когда-нибудь они столкнутся и одному из них несдобровать.

Они встретились как знакомые, и у них начался разговор. Грушницкий напал на общество, съехавшееся в этот год на воды. «Нынешний год, — говорил он, — из Москвы только одна княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком; моя солдатская шинель как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, — тяжело, как милостыня». В это время прошли мимо их к колодцу две дамы, и Грушницкий сказал, что то княгиня Лиговская с дочерью Мери. Он с ними незнаком, потому что «этой гордой знати нет дела, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью!» Звонкою фразою, громко сказанною по-французски, он обратил на себя внимание княжны. Печорин сказал ему: «Эта княжна Мери прехорошенькая. У нее такие бархатные глаза, — именно бархатные; я тебе советую присвоить это выражение, говоря о ее глазах; — нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза — без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят... Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... а что, у нее зубы белые? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу!» — «Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади», — сказал Грушницкий с негодованием. Они разошлись.

Возвращаясь мимо того места, Печорин, невидимый, был свидетелем следующей сцены. Грушницкий был ранен, или хотел казаться раненым, и потому хромал на одну ногу. Уронив стакан на песок, он напрасно усиливался поднять его. Легче птички подлетела к нему княжна и, подняв стакан, подала ему его с телодвижением, исполненным невыразимой прелести. Из этого выходит целый ряд смешных сцен, худо кончившихся для Грушницкого. Он идеальничает — Печорин над ним тешится. Он хочет ему показать, что в поступке княжны не видит для Грушницкого никакой причины к восторгу или даже просто к удовольствию. Печорин приписывает это своей страсти к противоречию, говоря, что присутствие энтузиаста обдаёт его крещенским холодом, а частые сношения с флегматиком могут сделать его страстным мечтателем. Напрасное обвинение! Такое чувство противоречия понятно во всяком человеке с глубокою душою. Детская, а тем более фальшивая идеальность оскорбляет чувство до того, что приятно уверить себя на ту минуту, что совсем не имеешь чувства. В самом деле, лучше быть совсем без чувства, нежели с *таким* чувством. Напротив, совершенное отсутствие жизни в человеке возбуждает в нас невольное желание увериться в собственных глазах, что мы не похожи на него, что в нас много жизни, и сообщает нам какую-то восторженность. Указываем на эту черту ложного самообвинения в характере Печорина, как на доказательство его противоречия с самим собою вследствие непонимания самого себя, причины которого мы объясним ниже.

Теперь выходит на сцену новое лицо — медик Вернер. В беллетристическом смысле это лицо превосходно, но в художественном довольно бледно. Мы больше видим, что хотел сделать из него поэт, нежели что он сделал из него в самом деле.

Жалею, что пределы статьи не позволяют нам выписать разговора Печорина с Вернером: это образец грациозной шутливости и, вместе, полного мысли остроумия (с. 76). Вернер сообщает ему сведения о приехавших на воды, а главное — о Лиговских. «Что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?» — спросил Печорин. — Вы очень уверены, что это княгиня... а не княжна? — «Совершенно убежден». — Почему? — «Потому что

княжна спрашивала о Грушницком». — У вас большой дар соображения, — отвечал Вернер. Затем он сообщил, что княжна почитает Грушницкого разжалованным в солдаты за дуэль. «Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении?» — Разумеется. — «Завязка есть! — закричал Печорин в восторге, — об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно». Далее Вернер сообщил Печорину, что княгиня его знает, потому что встречала в Петербурге, где его история (какая — этого не объясняется в романе) наделала много шума. Говоря о ней, княгиня к светским сплетням приплетала свои, а дочка слушала со вниманием; — в ее воображении Печорин (по словам Вернера) сделался героем романа в новом вкусе. Вернер вызывается представить его княгине. Печорин отвечает, что героев не представляют и что они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную. В шутках его проглядывает намерение. Мы скоро узнаем о нем: оно началось от нечего делать, а кончилось... но об этом после. Вернер сказал о княжне, что она любит рассуждать о чувствах, о страстях и пр. Потом на вопрос Печорина, не видел ли он кого-нибудь у них, он говорит, что видел женщину — блондинку, с чахоточным видом лица, с черною родинкою на правой щеке. Приметы эти, видимо, взволновали Печорина, и он должен был признаться, что некогда любил эту женщину. Затем он просит Вернера не говорить ей о нем, а если она спросит — отнестись о нем дурно. «Пожалуй!» — отвечал Вернер, пожав плечами, и ушел.

Оставшись наедине, Печорин думает о предстоящей встрече, которая беспокоит его. Ясно, что его равнодушие и ирония — больше светская привычка, нежели черта характера. «Нет в мире человека (говорит он), над которым бы прошедшее приобретало такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан! ничего не забываю — ничего!»

Вечером он вышел на бульвар. Сошедшись с двумя знакомыми, он начал им рассказывать что-то смешное; они так громко хохотали, что любопытство переманило на его сторону некоторых из окружавших княжну. Он, как выражается сам, продолжал увлекать публику до захождения солнца. Княжна несколько раз проходила мимо его с матерью, — и ее взгляд, стараясь выразить равнодушие, выражал одну досаду. С этого времени у них началась открытая война: в глаза и за глаза язвили они друг друга насмешками, злыми намеками. Верх всегда был на стороне Печорина, ибо он вел войну с должным присутствием духа, без всякой запальчивости. Его равнодушие бесило княжну и, назло ей самой, только делало его интереснее в ее глазах. Грушницкий следил за нею, как зверь, и лишь только Печорин предрек скорое знакомство его с Лиговскими, как он в самом деле нашел случай заговорить с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне. Вследствие этого он начал докучать Печорину, почему он не познакомится с этим домом, лучшим на водах? Печорин уверяет идеального шута, что княжна его любит: Грушницкий конфузится, говорит: «Какой вздор!» и самодовольно улыбается. «Друг мой, Печорин, — говорил он, — я тебя не поздравляю; ты у нее на дурном замечании... А, право, жаль! потому что Мери очень мила!..» — «Да, она недурна! — сказал с важностью Печорин, — только берегись, Грушницкий!» — Тут он стал ему давать советы и делать предсказания с ученым видом знатока. Смысл их был тот, что княжна из тех женщин, которые любят, чтобы их забавляли; что если с Грушницким будет ей скучно две минуты сряду — он погиб; что, накокетничавшись с ним, она выйдет за какого-нибудь уроды, из покорности к маменьке, а после и станет уверять себя, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть Грушницкого, но что Небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное... Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате. «Я внутренно хохотал (слова Печорина) и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней

работы... Я стал его рассматривать и что же?... мелкими буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне, и рядом — число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний; я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, — и тут-то я буду наслаждаться!»

На другой день, гуляя по виноградной аллее и думая о женщине с родинкой, он в гроте встретился с нею самою. Но здесь мы должны выпискою дать понять о их отношениях.

— Вера! — вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела. — «Я знала, что вы здесь», — сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами, — в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

— Мы давно не видались, — сказал я.

— Давно, и переменились оба во многом.

— Стало быть, уж ты меня не любишь?..

— Я замужем!.. — сказала она.

— Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем...

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

— Может быть, ты любишь своего второго мужа?

Она не отвечала и отвернулась.

— Или он очень ревнив?

Молчание.

— Что ж? он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься... — Я взглянул на нее и испугался: ее лицо выражало глубокое отчаяние, на глазах сверкали слезы.

— Скажи мне, — наконец прошептала она, — тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий... — Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть, — подумал я, — ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда!..»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец, губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были холодны, как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Вера никак не хотела, чтобы Печорин познакомился с ее мужем; но так как он дальний родственник Лиговской и как потому Вера часто бывает у ней, то она и взяла с него слово познакомиться с княгиней.

Так как «Записки» Печорина есть его автобиография, то и невозможно дать полного понятия о нем, не прибегая к выпискам, а выписок нельзя делать, не переписавши большей части повести. Посему мы принуждены пропускать множество подробностей самых характеристических и следить только за развитием действия.

Однажды, гуляя верхом, в черкесском платье, между Пятигорском и Железноводском, Печорин спустился в овраг, закрытый кустарником, чтобы напоить коня. Вдруг он видит — приближается кавалькада: впереди ехал Грушницкий с княжной Мери. Он был довольно смешон в своей серой солдатской шинели, сверх которой у него надета была шашка и пара пистолетов. Причина такого вооружения та (говорит Печорин), что дамы на водах еще верят нападению черкесов.

— И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говорила княжна.

— Что для меня Россия? — отвечал ее кавалер, — страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь, — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...

«Напротив!..» — сказала княжна, покраснев. Лицо Грушницкого выражало удовольствие. Он продолжал: — Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы Бог мне каждый год посылал один светлый женский взгляд, один подобный тому...

В это время они поравнялись со мной: я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста.

— Mon dieu, un Circassien!..² — вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame, — je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier³.

Княжна смутилась от этого ответа. Вечером того же дня Печорин встретился с Грушницким на бульваре.

«Откуда?» — «От княгини Лиговской, — сказал он очень важно. — Как Мери поет!» — «Знаешь ли что? — сказал я ему, — я пари держу, что она не знает, что ты юнкер: она думает, что ты разжалованный».

— Быть может! Какое мне дело!.. — сказал он рассеянно.

— Нет, я только так это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ужасно ее рассердил. Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу мог ее уверить, что ты не мог иметь намерения ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд; что ты, верно, о себе самого высокого мнения.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

— Мне жаль, что я не имею еще этого права...

— Ого! — подумал я, — у него, видно, есть уже надежда...

— Впрочем, для тебя же хуже, — продолжал Грушницкий, — теперь тебе трудно познакомиться с ними, а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю...

Я внутренне улыбнулся. «Самый приятный дом для меня теперь мой», — сказал я, зевая, и встал, чтобы идти.

— Однако признайся, ты раскаиваешься?

— Какой вздор! если я захочу, то завтра же вечером буду у княгини...

— Посмотрим.

— Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной.

— Да, если она захочет говорить с тобою.

— Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит... Прощай!..

— А я пойду шататься, я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдем лучше в ресторан, там игра... Мне нужны нынче сильные ощущения.

— Желаю тебе проиграться. — Я пошел домой.

На бале, в ресторане, Печорин услышал, как одна толстая дама, толкнутая княжною, бранила ее за гордость и изъявляла желание, чтобы ее проучили, и как один услужливый драгунский капитан, кавалер толстой дамы, сказал ей, что «за этим дело не станет». Печорин попросил княжну на вальс, — и княжна едва могла подавить на устах своих улыбку торжества. Сделавши с нею несколько туров, он завел с нею разговор в тоне кающегося преступника. Хохот и шушуканье прервали этот разговор. — Печорин обернулся: в нескольких шагах от него стояла группа мужчин и среди их драгунский капитан потирал от удовольствия руки. Вдруг выходит на середину пьяная фигура с усами и красной рожей, неверными шагами подходит к княжне и, заложив руки на спину, уставив на смущенную девушку мутно-серые глаза, говорит ей хриплым дискантом: «Пермете... ну, да, что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку...» Матери княжны не было вблизи; положение княжны было ужасно, она готова была упасть в обморок. Печорин подошел к пьяному господину и попросил его удалиться, говоря, что княжна дала уже ему слово танцевать с ним мазурку. Разумеется, следствием этой истории было формальное знакомство Печорина с Лиговскими. В продолжение мазурки Печорин говорил с княжною и нашел, что она очень мило шутила, что разговор ее был остр, без притязания на остроу, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки. Запутанною фразою дал он ей заметить, что она давно ему нравится.

Она наклонила голову и слегка покраснела. «Вы странный человек», — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.

— Я не хотел с вами познакомиться, — продолжал я, — потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись! Все они прескучные...

— Все? Неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: *все!*

— Даже мой друг Грушницкий?

— А он ваш друг? — сказала она, показывая некоторое сомнение.

— Да.

— Он, конечно, не входит в разряд скучных...

— Но в разряд несчастных, — сказал я, смеясь.

— Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...
— Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!
— А разве он юнкер? — сказала она быстро и потом прибавила: — А я думала...
— Что вы думали?
— Ничего!.. Кто эта дама?

Этот разговор был программой той продолжительной интриги, в которой Печорин играл роль *соблазнителя от нечего делать*; княжна, как птичка, билась в сетях, расставленных искусною рукою, а Грушницкий по-прежнему продолжал свою шутовскую роль. Чем скучнее и несноснее становился он для княжны, тем смелее становились его надежды. Вера беспокоилась и страдала, замечая новые отношения Печорина к Мери; но при малейшем укоре или намеке должна была умолкать, покоряясь его обаятельной власти, которую он так тиранически употреблял над нею. Но что же Печорин? неужели он полюбил княжну? — Нет. Стало быть, он хочет обольстить ее? — Нет. Может быть, жениться? — Нет. Вот что он сам говорит об этом:

Я часто себя спрашиваю, зачем так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я совсем не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия... Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтобы иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мной было то же самое! и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!»

Потом он продолжает, — и тут особенно раскрывается его характер:

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось, кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречаю на своем пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает: возбуждать в себе чувство любви, преданности и страха, не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радости, не имея на то никакого положительного права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности; идеи — создания органические — сказал кто-то; их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Так вот причины, за которые бедная Мери так дорого должна поплатиться!.. Какой страшный человек этот Печорин! Потому, что его беспокойный дух требует движения, деятельность ищет пищи, сердце жаждет интересов жизни, потому должна страдать бедная девушка! «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!..» — хором закричат, может быть, строгие моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то из чего хлопочете? за что сердитесь? Право, нам кажется, вы пришли не в свое место, сели за стол, за которым вам не поставлено прибора... Не подходите слишком близко к этому человеку, не нападайте на него с такой запальчивой храбростию: он на вас взглянет, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенных лицах ваших все прочтут суд ваш. Вы предаете его анафеме не за пороки, — в вас их больше, и в вас они чернее и позорнее, — но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которой он говорит о них. Вы позволяете

человеку делать все, что ему угодно, быть всем, чем он хочет, вы охотно прощаете ему и безумие, и низость, и разврат, но, как пошлину за право торговли, требуете от него *моральных сентенций* о том, как должен человек думать и действовать, и как он в самом деле и не думает и не действует... И зато ваше инквизиторское аутодафе готово для всякого, кто имеет благородную привычку смотреть действительности прямо в глаза, не опуская своих глаз, называть вещи настоящими их именами и показывать другим себя не в бальном костюме, не в мундире, а в халате, в своей комнате, в уединенной беседе с самим собою, в домашнем расчете с своей совестью... И вы правы: покажитесь перед людьми хоть раз в своем позорном неглиже, в своих засаленных ночных колпаках, в своих оборванных халатах, люди с отвращением отвернутся от вас, и общество извергнет вас из себя. Но этому человеку нечего бояться: в нем есть тайное сознание, что он не то, чем самому себе кажется, и что он есть только в настоящую минуту. Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстанет на него... Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизм и геморрой, которыми вы, бедные, так бесплодно страдаете... Пусть он клеветает на вечные законы разума, поставляя высшее счастье в насыщенной гордости; пусть он клеветает на человеческую природу, видя в ней один эгоизм; пусть клеветает на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитие и смешивая юность с возмужалостью, — пусть!.. Настанет торжественная минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд!.. Даже и теперь он проговаривается и противоречит себе, уничтожая одною страницей все предыдущие: так глубока его натура, так врождена ему разумность, так силен у него инстинкт истины! Послушайте, что говорит он тотчас после того места, которое, вероятно, так возмущает моралистов:

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает ими целую жизнь любоваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. *Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов:* душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. *Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие.*

Но пока (прибавим мы от себя), пока человек не дошел до этого высшего состояния, самопознания, — если ему назначено дойти до него, — он должен страдать от других и заставлять страдать других, восставать и падать, падать и восставать, от заблуждения переходить к заблуждению и от истины к истине. Все эти отступления суть необходимые маневры в сфере сознания: чтобы дойти до места, часто надо дать большой крюк, совершить длинный обход, ворочаться с дороги назад. Царство истины есть обетованная земля, и путь к ней — аравийская пустыня. Но, скажете вы, за что же другие должны гибнуть от таких страстей и ошибок? А разве мы сами не гибнем иногда как от собственных, так и от чужих? Кто вышел из горнила испытаний чист и светел, как золото, натура того — благородный металл; кто сгорел или не очистился, натура того — дерево или железо. И если многие благородные натуры погибают жертвами случайности, разрешение на этот вопрос дает религия. Для нас ясно и положительно одно: без бурь нет плодородия, и природа изнывает; без страстей и противоречий нет жизни, нет поэзии. Лишь бы только в этих страстях и противоречиях была разумность и человечность, и их результаты вели бы человека к его цели, — а суд принадлежит не нам: для каждого человека суд в его делах и их следствиях! Мы должны требовать от искусства, чтобы оно показывало нам действительность, как она есть, ибо какова бы она ни была, эта

действительность, она больше скажет нам, больше научит нас, чем все выдумки и поучения моралистов...

Но — скажут, может быть, резонеры — зачем рисовать картины возмутительных страстей, вместо того чтобы пленять воображение изображением кротких чувствований природы и любви, и трогать сердце и поучать ум? — Старая песня, господа, так же старая, как и «Выйду ль я на реченьку, посмотрю на быстрюю»!.. Литература восемнадцатого века была по преимуществу *моральною и рассуждающею*, в ней не было других повестей, как *contes moraux* и *contes philosophiques*⁴; однако ж эти нравственные и философские книги никого не исправили, и век все-таки был по преимуществу *безнравственным и развратным*. И это противоречие очень понятно. Законы нравственности в натуре человека, в его чувстве, и потому они не противоречат его делам; а кто чувствует и поступает сообразно с своим чувством, тот мало говорит. Разум не сочиняет, не выдумывает законов нравственности, но только *сознает* их, принимая их от чувства как *данные*, как *факты*. И потому *чувство* и *разум* суть не противоречащие, не враждебные друг другу, но родственные, или, лучше сказать, тождественные элементы духа человеческого. Но, когда человеку или отказано природою в нравственном чувстве, или оно испорчено дурным воспитанием, беспорядочною жизнью, — тогда его *рассудок* изобретает свои законы нравственности. Говорим: *рассудок*, а не *разум*, ибо разум есть сознавшее себя чувство, которое дает ему в себе предмет и содержание для мышления; а рассудок, лишенный действительного содержания, по необходимости прибегает к произвольным построениям. Вот происхождение *морали*, и вот причина противоречия между словами и поступками записных моралистов. Для них действительность ничего не значит: они не обращают никакого внимания на то, что есть, и не предчувствуют его необходимости; они хлопчут только о том, что и как должно быть. Это ложное философское начало породило и ложное искусство еще задолго до XVIII века, искусство, которое изображало какую-то небывалую действительность, создавало каких-то небывалых людей. В самом деле, неужели место действия корнелевских и расиновских трагедий — земля, а не воздух, их действующие лица — люди, а не марионетки? Принадлежат ли эти *цари*, *герои*, *наперсники* и *вестники* какому-нибудь веку, какой-нибудь стране? Говорил ли кто-нибудь от создания мира языком, похожим на их язык?.. Восемнадцатый век довел это рассудочное искусство до последних пределов нелепости: он только о том и хлопотал, чтобы искусство шло навыворот действительности, и сделал из нее *мечту*, которая и в некоторых добрых старичках нашего времени еще находит своих манчских витязей. Тогда думали быть поэтами, воспевая *Хлой*, *Филлид*, *Дорис* в фижах и мушках и *Меналков*, *Даметов*, *Титиров*, *Миконов*, *Миртилисов* и *Мелибеев* в шитых кафтанах; восхваляли мирную жизнь под соломенную кровлею, у светлого ручейка, *Ладона*, с милою подругою, невинною пастушкою, в то время как сами жили в раззолоченных палатах, гуляли в стриженных аллеях, вместо одной пастушки имели по тысяче *овечек* и для доставления себе *оних* благ готовы были на *всяческую*...

Наш век гнушается этим лицемерством. Он громко говорит о своих грехах, но не гордится ими; обнажает свои кровавые раны, а не прячет их под нищенскими лохмотьями притворства. Он понял, что сознание своей греховности есть первый шаг к спасению. Он знает, что действительное страдание лучше мнимой радости. Для него польза и нравственность только в одной истине, а истина — в сущем, то есть в том, что есть. Потому и искусство нашего века есть воспроизведение разумной действительности. Задача нашего искусства — не представить события в повести, романе или драме сообразно с *предположенною заранее целию*, но развить их сообразно с *законами разумной необходимости*. И в таком случае, каково бы ни было содержание поэтического произведения, — его впечатление на душу читателя будет благодатно, и, следовательно, нравственная цель достигнется сама собою. Нам скажут, что безнравственно представлять ненаказанным и торжествующим порок: мы против этого и не спорим. Но и в действительности порок торжествует только *внешним* образом: он в самом себе носит свое

наказание и гордою улыбкою только подавляет внутреннее терзание. Так точно и новейшее искусство: оно показывает, что суд человека в делах его; оно, как необходимость, допускает в себя диссонансы, производимые в гармонии нравственного духа, но для того, чтобы показать, как из диссонанса снова возникает гармония, — через то ли, что раззвучная струна снова настраивается или разрывается вследствие ее своевольного разлада. Это мировой закон жизни, а следовательно, и искусства. Вот другое дело, если поэт захочет в своем произведении доказать, что результаты добра и зла одинаковы для людей, — оно будет безнравственно, но тогда уже оно и не будет произведением искусства, — и, как крайности сходятся, то оно, вместе с моральными произведениями, составит один общий разряд непозитических произведений, писанных с определенной целью. Далее мы из самого разбираемого нами сочинения докажем, что оно не принадлежит ни к тем, ни к другим, и в основании своем глубоко нравственно. Но пора нам обратиться к нему.

Пришел Грушницкий и бросился мне на шею — он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошел вслед за ним. «Я вас не поздравляю», — сказал он Грушницкому. «Отчего?» — «Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и, признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь на водах, не придаст вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило».

«Толкуйте, толкуйте, доктор! вы мне не помешаете радоваться. Он не знает, — прибавил Грушницкий мне на ухо, — сколько надежд придали мне эти эполеты... О, эполеты, эполеты! ваши звездочки — путеводительные звездочки... Нет! я теперь совершенно счастлив».

На отлогости Машука, в версте от Пятигорска, есть провал. В один день там назначено было гулянье и род бала под открытым небом. Печорин спросил Грушницкого, идет ли он к провалу, и тот отвечал, что ни за что в свете не явится перед княжною прежде, нежели будет готов его мундир, и просил его не предуведомлять ее о его производстве.

— Скажи мне, однако, как твои дела с нею?..

Он смутился и задумался, ему хотелось похвастаться, солгать, — и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

— Как ты думаешь, любит ли она тебя?..

— Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия? как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

— Хорошо! и, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..

— Эх, братец! На все есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает...

— Она? — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись, — мне жаль тебя, Печорин!

Многочисленное общество отправилось вечером к провалу. Взираясь на гору, Печорин подал руку княжне, и она не покидала ее в продолжение всей прогулки. Разговор их начался злословием. Желчь Печорина взволновалась — и, начавши шутя, он кончил искреннею злостью. Сперва это забавляло княжну, а потом испугало. Она сказала ему, что лучше желала бы попасться под нож убийцы, чем ему на язык. Он на минуту задумался, а потом, приняв на себя глубоко тронутый вид, начал жаловаться на свою участь, которая, по его словам, так жалка с самого его детства:

Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве — я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли, — я стал злопамятен; я был угрюм — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже, — я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир — меня никто не понял — и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и с светом: лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили; я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось

отчаяние, — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, — но холодное бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой; я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминания о ней, и я прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными; но мне нет, особенно, когда вспомню, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь — предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

От души ли говорил это Печорин, или притворялся? — Трудно решить определенно: кажется, что тут было и то и другое. Люди, которые вечно находятся в борьбе с внешним миром и с самими собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны. Огорчение есть постоянная форма их бытия, и что бы ни попало им на глаза, все служит им содержанием для этой формы. Мало того, что они хорошо помнят свои истинные страдания, — они еще неистощимы в выдумывании небывалых. Вздумайте их утешать — они рассердятся; покажите им причины их горестей в настоящем их свете — они оскорбятся. Помогите им бранить самих себя, взведите на них небывалые обиды жизни, отыщите небывалые недостатки и пороки в их характере — вы польстите им и выиграете их расположение. Если вы попадете на человека недостаточно глубокого и сильного, — будьте осторожны: вы можете или оскорбить его самолюбие так, что возбудите к себе его ненависть, или убить в нем всякую уверенность в себя и возродить отчаяние, — тогда вам предстоит горькая и мучительно скучная роль утешителя и поверенного одних и тех же жалоб. Если же это человек глубокий и сильный, — не бойтесь слишком далеко зайти в нападках на него и на жизнь: у него есть лазеечка из этой западни: «Я дурен, но ведь и все таковы». А вы знаете, что, по пословице, при людях и смерть не страшна, — и как бы вы ни представлялись себе дурны, но если и лучший из людей не лучше вас, — ваше самолюбие спасено. И вот почему такие люди так неистощимы в самообвинении: оно обращается им в привычку. Обманывая других, они прежде всего обманывают себя. Истинная или ложная причина их жалоб, — им все равно, и желчная горесть их равно искренна и непритворна. Мало того: начиная лгать с сознанием или начиная шутить, — они продолжают и оканчивают искренно. Они сами не знают, когда лгут и когда говорят правду, когда слова их — вопль души, или когда они — фразы. Это делается у них вместе и болезнью души, и привычкою, и безумством, и кокетничаньем. Во всей выходке Печорина вы замечаете, что у него страждет самолюбие. Отчего родилось у него отчаяние? — Видите ли: он узнал хорошо свет и пружины общества, стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых он так неутомимо добивался. Какое мелкое самолюбие! восклицаете вы. Но не торопитесь вашим приговором: он клеветает на себя: поверьте мне, он и даром бы не взял того счастья, которому завидовал у этих *других* и которого добивался. Но княжне от этого было не легче: она все приняла за наличную монету. Печорин не ошибся, сказав, что в нем два человека: в то время, как один так горько жаловался *ни на что*, другой наблюдал и за ним и за княжною, и вот что заметил за последнею:

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали: ей было жаль меня! — Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, выпустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, — а это великий признак!..

Бедная Мери! Как систематически, с какой рассчитанной точности ведет ее злой дух по пути гибели! Подошедши к провалу, все дамы оставили своих кавалеров, но она не оставляла руки Печорина; остроты тамошних денди не смешили ее; крутизна обрыва, у которого она стояла, не пугала ее, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза. На возвратном пути она была рассеянна, грустна. «Любили ли вы?» — спросил ее Печорин; она пристально на него посмотрела, покачала головой и снова задумалась...

Казалось, что-то хотелось сказать, но она не знала, с чего начать; грудь ее волновалась. «Не правда ли, я была сегодня очень любезна?» — сказала она, при расставании, с принужденною улыбкою. Печорин, вместо ее, ответил самому себе: «Она недовольна собой, она себя обвиняет в холодности... О, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть — вот что скучно!» — Бедная Мери!..

Между тем Вера мучилась ревностью и мучила ею Печорина. Она взяла с него слово уехать в Кисловодск и нанять себе квартиру возле того дома, верх которого она займет с мужем, а низ — княгиня Лиговская, которая собирается туда еще через неделю. Вечер того же дня Печорин провел у Лиговских и веселился, замечая успехи чувства в княжне, Вера все это видела и страдала. Чтобы утешить ее, он рассказал вслух историю своей любви с нею, разумеется, прикрыв все вымышленными именами. «Я, — говорит он, — так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги; я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжною».

На другой день — бал в ресторации. За полчаса до бала к Печорину явился Грушницкий в полном сиянии армейского мундира. — «Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за *моею* княжною?» — сказал он довольно небрежно и не глядя на Печорина. «Где нам дуракам чай пить!» — отвечал тот. Затем Грушницкий попросил у него духов, несмотря на замечания Печорина, что от него и так несет розовую помадою; налил полстеклянки за галстух, в носовой платок и на рукава и заключил опасением, что ему придется начинать с княжною мазурку, тогда как он не знает почти ни одной фигуры. На вопрос Печорина: «А ты звал ее на мазурку?» он отвечал, что нет, и поспешил дожидаться ее у подъезда. Разумеется, на балу бедный Грушницкий разыграл благодаря Печорину очень смешную роль. Княжна очень рассеянно его слушала и отвечала насмешками на его трагикомические выходки. «Нет, — говорил он, — лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием...» — В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу, — отвечала княжна и, заметив подошедшего к ним Печорина, обратилась к нему с вопросом о его мнении об этом предмете.

«Я с вами не согласен, — отвечал Печорин, — в мундире он еще моложавее». Этот злой намек на лета мальчика, который хотел бы, чтобы на его лице читали следы сильных страстей, взбесил Грушницкого: он топнул ногою и отошел. Все остальное время он преследовал княжну: танцевал или с ней, или vis-à-vis ⁵, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она уж его ненавидела.

— Я этого не ожидал от тебя, — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

— Чего?

— Ты с нею танцуешь мазурку? — спросил он торжественным голосом. — Она мне призналась...

— Ну так что ж? а разве это секрет?

— Разумеется... Я должен был этого ожидать от девчонки... от кокетки... Уж я отомщу!

— Пеняй на свою шинель, или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

— Зачем же подавать надежды?

— Зачем же ты надеялся?

Печорин достиг своей цели: Грушницкий отошел от него с чем-то вроде угрозы. Это его радовало и забавило, но что же за радость бесить доброго, пустого малого и для этого играть обдуманную роль, действовать по обдуманному плану? Что это: следствие праздности ума или мелкости души? Вот что думал об этом он сам, сбираясь на бал:

Я шел медленно, мне было грустно... Неужели, — думал я, — мое единственное назначение — разрушать чужие надежды? С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта: невольно я разыгрывал роль палача или предателя. Какую цель имела на

это судьба? Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?..

Мы нарочно выписали это место, как одну из самых характеристических черт двойственности Печорина. В самом деле, в нем два человека: первый действует, второй смотрит на действия первого и рассуждает о них, или, лучше сказать, осуждает их, потому что они действительно достойны осуждения. Причины этого раздвоения, этой ссоры с самим собою, очень глубоки, и в них же заключается противоречие между глубиной натуры и жалкостью действий одного и того же человека. Ниже мы коснемся этих причин, а пока заметим только, что Печорин, ошибочно действуя, еще ошибочнее судит себя. Он смотрит на себя как на человека вполне развившегося и определившегося: удивительно ли, что и его взгляд на человека вообще мрачен, желчен и ложен?.. Он как будто не знает, что есть эпоха в жизни человека, когда ему досадно, зачем дурак глуп, подлец — низок, зачем толпа пошла, зачем на сотню пустых людей едва встретишь одного порядочного человека... Он как будто не знает, что есть такие пылкие и сильные души, которые, в эту эпоху семейной жизни, находят неизъяснимое наслаждение в сознании своего превосходства, мстят посредственности за ее ничтожность, вмешиваются в ее расчеты и дела, чтобы мешать ей, разрушая их... Но еще более: он как будто бы не знает, что для них приходит другая эпоха жизни — результат первой, когда они или равнодушно на все смотрят, не сочувствуя добру, не оскорбляясь злом, или уверяются, что в жизни и зло необходимо, как и добро, что в армии общества человеческого рядовых всегда должно быть больше, чем офицеров, что глупость должна быть глупа, потому что она глупость, а подлость подла, потому что она подлость, и они оставляют их идти своею дорогою, если не видят от них зла или не видят возможности помешать ему, и повторяют про себя, то с радостною, то с грустною улыбкою: «И все то благо, все добро!..» Увы, как дорого достается уразумение самых простых истин! Печорин еще не знает этого, и именно потому, что думает, что все знает.

Позабавившись над Грушницким, он позабавился и над княжною, хотя совсем другим образом.

Я два раза пожал ее руку... во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, — сказала она мне, когда мазурка кончилась.

— Этому виноват Грушницкий.

— О нет! — И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим.

Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собою.

С этого времени история круто поворотилась, и из комической начала переходит в трагическую. Доселе Печорин сеял — теперь настает время пожинать ему плоды посеянного. Мы думаем, что в этом и должна заключаться истинная нравственность поэтического произведения, а не в пошлых сентенциях.

Грушницкий, наконец, понял, что он одурачен, но вместо того чтобы в самом себе увидеть причину своего позора, он увидел ее в Печорине. К нему пристал драгунский капитан и все другие, которых оскорбляло превосходство Печорина, — и против Печорина начала составляться враждебная партия; но он не испугался, а обрадовался этому, увидев новую пищу для своей праздной деятельности... «Очень рад, я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерение, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитростей и замыслов — вот что я называю жизнью!» — Ошибочное название! — восклицаете вы, — и мы согласны с вами; но сила всегда

останется силою и всегда будет полна поэзии, всегда будет восхищать и удивлять вас, хотя бы она действовала и деревянным мечом вместо булатного... Есть люди, в руках которых и простая палка опаснее, чем у иных шпага. Печорин из таких людей...

На другой день Вера уехала с мужем в Кисловодск. Печорин винит ее самое в причине ее жалоб на него: она отказывает ему в свидании наедине. «Авось, — говорит он, — ревность сделает то, чего не могли мои просьбы». Вечером он заходил к Лиговским и не видал княжны — она больна. Возвратясь домой, он заметил, что ему чего-то недостает. «*Я не видал ее! Она больна! Уж не влюбился ли я в самом деле?.. Какой вздор!*» — Видите ли: как увлекательна эта игра в увлечение, как легко, увлекая других, увлечься и самому!.. Как ни старается Печорин выставить себя холодным обольстителем без всякой цели, но от нечего делать, однако для нас его холодность очень подозрительна. Конечно, это еще не любовь, но ведь трудно разбирать и различать свои ощущения: собственное сердце всякого есть самый извилистый, самый темный лабиринт...

На другой день он застал ее одну. Она была бледна и задумчива. «Вы на меня сердитесь?» Она заплакала и закрыла лицо руками. «Что с вами?» — Вы меня не уважаете!.. — отвечала она. Он ей сказал что-то вроде извинения и тщеславной загадки насчет своего характера — и вышел; но, уходя, слышал, как она плакала. Бедная девушка!.. стрела так глубоко вошла в ее сердце, что дело не может кончиться хорошо!.. В тот же день Печорин узнал от Вернера, что ходят слухи, будто он женится на княжне...

Наконец действие переносится в Кисловодск. Однажды многочисленная кавалькада отправилась смотреть *Кольцо* — скалу, образующую ворота, верстах в трех от Кисловодска. Когда, на возвратном пути, переезжали через *Подкумок*, у княжны закружилась голова, оттого, что она смотрела в воду. — Мне дурно! — проговорила она слабым голосом. Печорин обвил рукою ее гибкий стан, щека ее почти касалась его щеки, от нее веяло пламенем... «Что вы со мною делаете? Боже мой!..» — говорила она; но он не обращал внимания на ее слова — и губы его коснулись ее щеки... Выехав на берег, все пустились рысью, княжна приостановила свою лошадь, и они опять поехали позади всех. После долгого молчания, умышленного со стороны Печорина, она, наконец, сказала голосом, в котором были слезы:

— Или вы меня презираете, или очень любите! Может быть, вы хотите посмеяться надо мною, возмутить мою душу и потом оставить... Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... О нет! не правда ли, — прибавила она голосом нежной доверенности, — не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок... я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!..

В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастью, начинало смеркаться... Я ничего не отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она, — вы, может быть, хотите, чтобы я первая сказала вам, что я вас люблю?

Я молчал.

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обратясь ко мне... В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

— Зачем? — отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно; в ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренне радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок; она проведет ночь без сна и будет плакать. *Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира!.. а еще слышу добрым малым и добиваюсь этого названия.*

Что такое вся эта сцена? Мы понимаем ее только как свидетельство, до какой степени ожесточения и безнравственности может довести человека вечное противоречие с самим собою, вечно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истинного блаженства; но последней черты ее мы решительно не понимаем... Она кажется нам преувеличением, умышленною клеветою на самого себя, чертою изысканною и натянутою; словом, нам

кажется, что здесь Печорин впал в Грушницкого, хотя и более страшного, чем смешного... И, если мы не ошибаемся в своем заключении, это очень понятно: состояние противоречия с самим собою необходимо условливает бóльшую или меньшую изысканность и натянутость в положениях...

Возвращаясь домой слободкою, Печорин услышал из одного дома нестройный говор и шумные крики. Он слез с коня и стал подслушивать. Говорили о нем. Драгунский капитан кричал, что его надо проучить, что эти петербургские слётки зазнаются, пока их не ударишь по носу; что Печорин думает, что он только один и жил в свете оттого, что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги, и что он должен быть трус. Грушницкий подтвердил достоверность последнего предположения, выдумав какое-то происшествие, в котором будто бы Печорин сыграл перед ним не слишком выгодную для своей чести роль. Почтенная компания поджигает Грушницкого — имя княжны упоминается. Впрочем, драгунский капитан хочет только позабавиться над Печориным, заставив его обнаружить свою трусость. Он предлагает Грушницкому вызвать его на дуэль, а себе предоставляет поставить их в шести шагах и в пистолеты не положить пуль.

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого; холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. *Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею.* Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен».

Путру Печорин встретил княжну у колодца. Это свидание было страшною развязкою пустой и ничтожной драмы, которая предшествовала другой драме, не менее пустой и ничтожной в сущности, но еще с более страшною развязкою.

— Вы больны? — сказала она, пристально посмотрев на меня.

— Я не спал ночь.

— И я также... я вас обвиняла... может быть, напрасно? — Но объяснитесь, я могу вам простить все...

— Все ли?

— Все... только говорите правду... только скорее... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение: может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего: когда они узнают... (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение... но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю... О, отвечайте скорее, сжальтесь: вы меня не презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия.

— Я вам скажу всю истину, — отвечал я княжне, — не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков: *я вас не люблю.*

Ее губы слегка побледнели.

— Оставьте меня, — сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

На этот раз Печорин снисходительнее к нам: он приподнял таинственное покрывало, которым облек свое сатанинское величие, и очень просто, хотя и прекрасною прозою, объяснил причину этой сцены, как бы желая оправдаться в ней. Он говорит, что как бы страстно ни любил он женщину, но как скоро она даст ему почувствовать, что он должен на ней жениться — прости любовь!.. Этот страх лишиться постылой и ни для чего не нужной ему свободы он приписывает предсказанию старушки, которая, когда еще он был ребенком, гадала про него его матери и предрекла ему *смерть от злой жены*... Нет, это все не то!.. Печорин не любил княжны, он оскорбил бы самого себя, если бы назвал любовью легонькое чувство, возбужденное его собственным кокетством и самолюбием. Потом: брак есть действительность любви. Любить истинно может только вполне созревшая душа, и в таком случае любовь видит в браке свою высочайшую награду и при блеске венца не блекнет, а пышнее распускает свой ароматный цвет, как при лучах

солнца... Всякое чувство действительно в отношении к самому себе, как выражение моментального состояния духа: и первая любовь едва проснувшейся для жизни души отрока имеет свою поэзию и свою истину; но, будучи действительно по своей сущности, она совершенно призрачна по своей форме и в сравнении с любовью возмужавшего человека есть то же, что первое бессвязное лепетание младенца в сравнении с разумною речью мужа. Это больше потребность любви, чем самая любовь, и потому она обращается на первый предмет, способный поразить юную фантазию истинным или мнимым сходством с ее идеалом, и так же скоро погасает, как и вспыхивает. Такая любовь может много раз повториться в жизни человека; она или ненавидит брак и отвращается его, как идеи, профанирующей ее идеальность, или представляет его высочайшим блаженством и стремится к нему только до тех пор, пока он не предстанет к ней с своим строго испытующим, недоверчиво суровым взором: тогда бедная любовь потупляет перед ним свои глаза, как ребенок, застигнутый в шалости строгим гувернером... Да, брак есть гибель такой любви, и вот почему так много бывает *несчастливых браков по любви*... Только действительное чувство не боится своего осуществления, не трепещет своей проверки; только действительность смело смотрит в глаза действительности, не потупляя своих глаз... И неужели Печорин, этот человек, столь глубокий и могучий, мог почесть свое чувство к княжне действительным и удивиться, что ее намек о браке так же легко уничтожил его чувство, как вид лозы уничтожает резвость ребенка?.. Нет! из всего этого опять-таки видно только одно, что Печорин еще рано почел себя допившим до дна чашу жизни, тогда как он еще и не сдул порядочно ее шипящей пены... Повторяем: он еще не знает самого себя, и если не должно ему всегда верить, когда он оправдывает себя, то еще менее должно ему верить, когда он обвиняет себя или приписывает себе разные нечеловеческие свойства и пороки. Но винить ли его за это? Вините, если в глазах ваших юноша виноват тем, что он молод, а старец тем, что он стар! Есть люди, в которых потребность жизни так сильна, что составляет их мучение до тех пор, пока не удовлетворится, — и есть люди, которые долго живут и умирают неудовлетворенные, ибо действительны только потребности, а удовлетворение всегда зависит от случая, который так же может сбыться, как и может не сбыться. И вот, когда такие люди бросаются всюду, ища удовлетворения, и не находят его, — их отчаяние порождает клеветы на вечные законы разумной действительности; но они правы перед самими собою в этих клеветах, хотя и неправы перед действительностью. Можно ли винить их за несчастье? Можно ли винить их и за то, что они с такою жадностью бросаются на все, что волнует душу призраками блаженства? Не все же родятся с этим апатическим благоразумием, источник которого — гнилая и мертвая натура...

В Кисловодск приехал фокусник. Разумеется, на водах нельзя презирать никаким родом развлечения, — и на первое представление все бросились. Сама княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее была больна, взяла билет. Печорин получил от Веры записку, которою она назначала ему свидание в 9 часов вечера, извещая его, что муж ее уехал в Пятигорск до утра следующего дня, а людям, как своим, так и Лиговских, она раздала билеты. Повертевшись на представлении и заметив в задних рядах лакеев и горничных Веры и княгини, Печорин отправился на свидание. На дворе было темно. Вдруг Печорину показалось, что кто-то идет за ним. Из предосторожности он обошел вокруг дома, будто гуляя. Проходя мимо окон княжны, он снова услышал за собою шаги, — и человек, завернутый в шинель, пробежал мимо его. Печорин бросился на темную лестницу — дверь открылась, и маленькая ручка схватила его руку...

Около двух часов пополудни Печорин спустился из окна, с верхнего балкона на нижний, посредством двух связанных шалей. У княжны горел огонь, и *что-то* толкнуло Печорина к окну. Благодаря не совсем задернутому занавесу вот что увидел он:

Мери сидела на своей постели, скрестив на коленях руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики, и маленькая ножка пряталась в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на

грудь; перед нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробежали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко...

Как много говорят эти немногие и простые строки! Какую длинную и мучительную повесть оскорбленного женского достоинства, оскорбленной женской любви, затаенных страданий и холодно жгучего отчаяния рассказывают они!.. Бедная Мери!..

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом; Печорин спрыгнул с балкона на землю, и невидимая рука схватила его за плечо. «А-га! — сказал грубый голос, — попался!.. Будешь у меня к княжнам ходить ночью!..» — «Держи его крепче!» — закричал другой голос, — и Печорин узнал Грушницкого и драгунского капитана. Сильным ударом по голове сшиб он последнего и бросился в кусты. «Воры! караул!» — кричали преследователи; раздался ружейный выстрел, и дымящийся пыж упал почти к ногам Печорина. Через минуту он был уже у себя дома и лежал, раздетый, в своей постели. Едва человек его успел запереть на замок дверь, как драгунский капитан и Грушницкий начали стучаться, крича: «Печорин! вы спите? здесь вы?» — Сплю, — отвечал он им сердито. «Вставайте! — воры... черкесы...» — У меня насморк, боюсь простудиться.

Они ушли. Между тем сделалась тревога. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; начали искать черкесов, и на другой день все были убеждены в ночном нападении черкесов.

На другой день утром Печорин встретился у колодца с мужем Веры, с которым и пошел в ресторацию завтракать. Добрый старик рассказывал ему о страхах жены своей в прошлую ночь. «Надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии!» — говорил он. Они уселись завтракать у двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Итак, судьба снова доставила Печорину случай подслушать Грушницкого. Этот последний за тайну открывал обществу, что причиною ночной тревоги были не черкесы, а один человек, имя которого он должен утаить и который был у княжны. «Какова княжна? — заключил он, — а? Ну уж признаюсь, московские барышни! после этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить: только он вырвался и как заяц бросился в кусты; тут я по нем выстрелил». Заметив, что ему никто не верил, он стал уверять честным словом в справедливости рассказанного им и, наконец, даже изъявил готовность назвать виновника истории.

— Скажи, скажи, кто ж он? — раздалось со всех сторон.

— Печорин, — отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза — я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

— Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

Печорин, разумеется, стал требовать от него, чтобы он отказался от своих слов. Грушницкий стоял перед ним, потупив глаза, в сильном волнении; но борьба совести с самолюбием была непродолжительна, тем более что драгунский капитан толкнул его локтем: не подымая глаз на Печорина, снова подтвердил он ему истину своего обвинения. Печорин отвел капитана и переговорил с ним. На крыльце ресторации муж Веры схватил его за руку с чувством, похожим на восторг, называл его благороднейшим человеком, а Грушницкого подлецом и изъявлял свою радость, что у него нет дочерей... Бедный муж!..

Оттуда Печорин пошел к Вернеру, рассказал ему все и попросил в свои секунданты. Через час Вернер пришел к нему, уже переговоривши с драгунским капитаном. «Против вас точно есть заговор», — сказал он ему. Пока Вернер снимал в передней калоши, он был свидетелем жаркого спора капитана с Грушницким, из которого понял, что Грушницкий не соглашался дурачить Печорина, но требовал, как обиженный, решительной дуэли. Переговоры Вернера с капитаном порешились на том, чтобы место дуэли было глухое ущелье верстах в пяти от Кисловодска и чтобы стреляться на другой день, в четыре часа

утра, в шести шагах, а убитого — на счет черкесов. Затем Вернер сообщил свое подозрение, что капитан намерен положить пулю только в пистолет Грушницкого, и спросил Печорина, должно ли им показать, что они догадались, на что последний решительно не согласился, говоря, что он и без того расстроит их планы.

Вечером к Печорину приходил лакей с приглашением от княгини, но он сказался больным. Всю ночь он не спал, в голове его пробегали мысли за мыслями. От угроз Грушницкому, которого он почитал верною жертвою своею, он перешел к мысли о непостоянстве счастья, которое доселе неизменно служило ему. «Что ж, — думал он, — умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова... Прощайте!..»

Затем он обращается на всю жизнь свою, и ему невольно приходит в голову вопрос о цели его жизни. «Зачем я жил? для какой цели я родился? А верно она существовала, и верно было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, — лучший цвет жизни!..»

Поучительна немая беседа с самим собою человека, который завтра готовится быть или убитым, или убийцею!.. Мысль невольно обращается на себя, и сквозь мглу предрассуждений и умысленных софизмов блеснит луч ужасной истины... Но решение принято, шаг сделан, и возврата нет; само общество, которое смотрит на кровавые сделки как на безнравственность, само общество, противореча себе, запрещает этот возврат своим насмешливо-презрительным взглядом, своим недвижно остановившимся на жертве перстом... Кровавая развязка дела доставляет ему средства читать себе для других нравоучения, произнести ближнему приговор и надавать ему поздних советов: отступление лишает его занимательного анекдота, прекрасного случая к развлечению на чужой счет. Что ж тут делать? Разумеется, идти вперед, а чтобы вникание в себя и в сущность дела не лишило смелости, закрыть глаза на истину и обеими руками ухватиться за первый представившийся софизм, которого ложность самому очевидна... Печорин так и сделал; он решил, что не стоит труда жить и он прав перед собою или по крайней мере не виноват перед теми строгими судьями чужих поступков, которые сами не участвуют в жизни, но на живущих смотрят, как зрители на актеров, то аплодируя, то шикая...

Несмотря на тайное беспокойство, мучившее Печорина, он не только имел силы заставить себя взяться за роман Вальтера Скотта «Шотландские пуритане», но еще и увлечься волшебным вымыслом.

Когда рассвело, он посмотрелся в зеркало: тусклая бледность покрывала лицо его, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. «Я, говорит он, остался доволен собою». Купанье в нарзане сделало его совершенно свежим и бодрым.

Возвратясь с купанья, он нашел у себя Вернера. Они сели на лошадей и поехали. Тут следует мимоходом краткое, полное поэзии описание прекрасного кавказского утра.

«Я помню, говорит Печорин: в этот раз больше, чем когда-нибудь прежде, я любил природу; как любопытно я всматривался в каждую росинку, трепещущую на широком листе виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сходились непроницаемою стеною».

Они ехали молча.

— Написали ли вы свое завещание? — вдруг спросил Вернер.

— Нет.

— А если будете убиты?

— Наследники отыщутся сами.

— Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать последнее прощанье?..

Я покачал головой.

— Неужели нет женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, доктор, — отвечал я ему, — чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли: я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе: иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут, или, хуже, взведут на мой счет бог знает какие небывлицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтобы не возбудить в нем ревности к усопшему, бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека; один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, может быть, чрез час простится с вами и миром навеки, а второй... второй?..

Это признание обнаруживает всего Печорина. В нем нет фраз, и каждое слово искренно. Бессознательно, но верно выговорил Печорин всего себя. Этот человек не пылкий юноша, который гоняется за впечатлениями и всего себя отдает первому из них, пока оно не изгладится и душа не запросит нового. Нет, он вполне пережил юношеский возраст, этот период романического взгляда на жизнь: он уже не мечтает умереть за свою возлюбленную, произнося ее имя и завещая другу локон волос, не принимает слова за дело, порыв чувства, хотя бы самого возвышенного и благородного, за действительное состояние души человека. Он много перечувствовал, много любил и по опыту знает, как непродолжительны все чувства, все привязанности; он много думал о жизни и по опыту знает, как ненадежны все заключения и выводы для тех, кто прямо и смело смотрит на истину, не тешит и не обманывает себя убеждениями, которым уже сам не верит... Дух его созрел для новых чувств и новых дум, сердце требует новой привязанности: *действительность* — вот сущность и характер всего этого нового. Он готов для него; но судьба еще не дает ему новых опытов, и, презирая старые, он все-таки по ним же судит о жизни. Отсюда это безверие в действительность чувства и мысли, это охлаждение к жизни, в которой ему видится то оптический обман, то бессмысленное мелькание китайских теней. — Это переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем. Тут-то возникает в нем то, что на простом языке называется и «хандрою», и «ипохондриею», и «мнительностью», и «сомнением», и другими словами, далеко не выражающими сущности явления, и что на языке философском называется *рефлексиею*. Мы не будем объяснять ни этимологического, ни философского значения этого слова, а скажем коротко, что в состоянии рефлексии человек распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. Тут нет полноты ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в каком действии: как только зародится в человеке чувство, намерение, действие, тотчас какой-то скрытый в нем самый враг уже подсматривает зародыш, анализирует его, исследует, верна ли, истинна ли эта мысль, действительно ли чувство, законно ли намерение, и какая их цель, и к чему они ведут, — и благоуханный цвет чувства блекнет, не распустившись, мысль дробится в бесконечность, как солнечный луч в граненом хрустале, рука, поднятая для действия, как внезапно окаменелая останавливается на взмахе и не ударяет...

Так робкими всегда творит нас совесть,
Так яркий в нас решимости румянец
Под тению тускнеет размышленья,
И замыслов отважные порывы,
От сей препоны уклоняя бег свой,
Имен деяний не стяжают... —

говорит Шекспиров Гамлет, этот поэтический апотеоз рефлексии. Ужасное состояние! Даже в объятиях любви, среди блаженнейшего упоения и полноты жизни, восстает этот враждебный внутренний голос, чтобы заставить человека думать

...в такое время,
Когда не думает никто,

и, вырвав из его рук очаровательный образ, заменить его отвратительным скелетом...

Но это состояние сколько ужасно, столько же и необходимо. Это один из величайших моментов духа. Полнота жизни — в чувстве, но чувство не есть еще последняя ступень духа, дальше которой он не может развиваться. При одном чувстве человек есть раб собственных ощущений, как животное есть раб собственного инстинкта. Достоинство бессмертного духа человеческого заключается в его разумности, а последний, высший акт разумности есть — мысль. В мысли независимость и свобода человека от собственных страстей и темных ощущений. Когда человек поднимает в гневе руку на врага своего — он следует чувству, его одушевляющему; но только разумная мысль о своем человеческом достоинстве и о своем человеческом братстве со врагом может удержать порыв гнева и обезоружить поднятую для убийства руку. Но переход из непосредственности в разумное сознание необходимо совершается через рефлексию, более или менее болезненную, смотря по свойству индивидуума. Если человек чувствует хоть сколько-нибудь свое родство с человечеством и хоть сколько-нибудь сознает себя духом в духе, — он не может быть чужд рефлексии. Исключения остаются только или за натурами чисто практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересов духа и которых жизнь — апатическая дремота. И наш век есть по преимуществу век рефлексии, почему от нее не освобождены ни те мирные и счастливые натуры, которые с глубиной соединяют тихость и невозмущаемое спокойствие, ни самые практические натуры, если они не лишены глубины. Отсюда значение целой германской литературы: в основании почти каждого из ее произведений лежит нравственный, религиозный или философский вопрос. «Фауст» Гёте есть поэтический апотеоз рефлексии нашего века. Естественно, что такое состояние человечества нашло свой отзыв и у нас; но оно отразилось в нашей жизни особенным образом вследствие неопределенности, в которую поставлено наше общество насильственным выходом из своей непосредственности, через великую реформу Петра. Дивно художественная «Сцена Фауста» Пушкина представляет собою высокий образ рефлексии, как болезни многих индивидуумов нашего общества. Ее характер — апатическое охлаждение к благам жизни вследствие невозможности предаваться им со всею полнотою. Отсюда томительная бездейственность в действиях, отвращение ко всякому делу, отсутствие всяких интересов в душе, неопределенность желаний и стремлений, безотчетная тоска, болезненная мечтательность при избытке внутренней жизни. Это противоречие превосходно выражено автором разбираемого нами романа в его чудно-поэтической «Думе»⁶, исполненной благородного негодования, могучей жизни и поразительной верности идей. Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить из нее следующие четыре стиха, в которых сказано больше, чем в двенадцати томах иного «господина сочинителя».

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови!..

Печорин есть один из тех, к кому особенно должно относиться это энергическое воззвание благородного поэта, которого это самое и заставило назвать героя романа героем нашего времени. Отсюда происходит и недостаток определенности, недостаток

художественной рельефности в изображении этого лица, но отсюда же выходит и его высочайший поэтический интерес для всех, кто принадлежит к *нашему времени* не по одному году и числу месяца, в которые родился, — и то сильное неотразимо грустное впечатление, которое он на них производит... Но мы еще возвратимся к этому предмету, когда кончим изложение содержания романа.

Подробности свидания противников на месте роковой разделки переданы автором с ужасающе истинною и поэзиею. Чтобы расстроить бесчестные намерения своих врагов, возбудив трусость в Грушницком, Печорин предложил ему стреляться на узенькой площадке отвесной скалы, сажень в тридцать вышины, и с острыми камнями вниз. «Каждый из нас (говорит он Грушницкому) станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначали шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень, очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объясняю вам в заключение, что иначе я не буду драться...» Грушницкий был поставлен в затруднение — лицо его ежеминутно менялось. Теперь ему нельзя было отделаться легкою раною, нанесенною противнику или полученною им самим. С другой стороны, ему пришлось бы или выстрелить на воздух, или сделаться убийцею, или отказаться от своего подлого замысла. Капитан отвечал на вызов Печорина: «Пожалуй!» — и Грушницкий принужден был кивнуть головою в знак согласия. Однако он отвел капитана в сторону и стал говорить с ним с большим жаром. Печорин видел, как дрожали его посинелые губы, и слышал, как капитан, отвернувшись от него с презрением, отвечал ему довольно громко: «Ты дурак! ничего не понимаешь!»

Взошли на площадку, изображавшую почти треугольник. Условились, чтобы тот, которому первому достанется встретить выстрел, стал на углу площадки, спиною к пропасти; если же он не будет убит, противники должны были поменяться местами. Бросили жребий — Грушницкому досталось стрелять первому. Когда стали на места, Печорин сказал Грушницкому, что если он промахнется, то не должен надеяться промаха с его стороны. Грушницкий покраснел: мысль убить человека безоружного, казалось, боролась в нем со стыдом признаться в подлом умысле. Доктор снова стал советовать Печорину обнаружить их умысел и сам было хотел это сделать. «Ни за что на свете, доктор!.. — отвечал Печорин, удерживая его за руку, — вы все испортите, вы мне дали слово не мешать... какое вам дело? Может быть, я хочу быть убитым...» — О! это другое!.. Только на меня на том свете не жалуйтесь... — отвечал Вернер, посмотрев на него с удивлением.

Капитан зарядил пистолеты и подал один Грушницкому, шепнув ему что-то, а другой Печорину. Печорин выдался вперед, опершись рукою о колено, чтобы, в случае легкой раны, не полететь в бездну; Грушницкий, с бледным лицом, дрожащими коленями, стал наводить пистолет, метя в лоб; но тут совершилось то, что необходимо должно было совершиться вследствие слабости характера Грушницкого, не способного ни к положительному добру, ни к положительному злу: пистолет опустился, и, бледный как смерть, обратившись к своему секунданту, Грушницкий сказал глухим голосом: «Не могу!» — «Трус!» — отвечал капитан, — выстрел раздался, пуля легко оцарапала колено Печорина, который невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее отделиться от края. — Какая верная черта человеческой природы, в которой ни порывы самолюбия, ни жизненная сила воли не могут заглушить инстинкта самосохранения!..

Теперь настала очередь Печорина. Капитан сыграл сцену прощания с Грушницким, едва удерживаясь от смеха. Можно себе представить, какие чувства волновали Печорина при виде соперника, который теперь с спокойною дерзостью смотрел на него и, кажется, удерживал улыбку, а за минуту хотел убить его как собаку... Как бы для очистки своей совести он предложил ему попросить у него прощения, но, услышав гордый отказ, произнес следующие слова с расстановкою, громко и внятно, как произносят смертный

приговор: «Доктор, эти господа, вероятно, второпях забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, — и хорошенько!» Капитан старался казаться обиженным и утверждал, что это неправда: но Печорин заставил его замолчать, сказав, что если это так, то он и с ним будет стреляться на тех же условиях. Грушницкий подал решительный голос в пользу переряжения пистолета. «Дурак же ты, братец, — сказал капитан, плюнув и топнув ногою, — пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околевай себе, как муха!..» Печорин снова предложил Грушницкому признаться в своей клевете, обещаясь этим и кончить дело, и даже напомнив ему о их прежней дружбе. Здесь предстоял автору прекрасный случай изобразить трогательную сцену примирения врагов и обращения на путь истины заблудшего человека и тем премного утешить моралистов и любителей пряничных эффектов; но глубоко художнический инстинкт истины, бессознательно открывающий поэту самые сокровенные таинства человеческой природы, заставил его написать сцену совсем в другом роде, сцену, которая поражает своею ужасною, беспощадною истинностию и своею потрясающею эффектностию, при высочайшей простоте и естественности... Лицо Грушницкого вспыхнуло, глаза засверкали. «Стреляйте! — отвечал он, — я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...»

Да, это гениальная черта, смелый и мощный взмах художнической кисти!.. Не забудьте, что у Грушницкого нет только характера, но что натура его не чужда была некоторым добрым сторонам: он не способен был ни к действительному добру, ни к действительному злу; но торжественное, трагическое положение, в котором самолюбие его играло бы напропалую, необходимо должно было возбудить в нем мгновенный и смелый порыв страсти. Самолюбие уверило его в небывалой любви к княжне и в любви княжны к нему; самолюбие заставило его видеть в Печорине своего соперника и врага; самолюбие решило его на заговор против чести Печорина; самолюбие не допустило его послушаться голоса своей совести и увлечься своим добрым началом, чтобы признаться в заговоре; самолюбие заставило его выстрелить в безоружного человека; то же самое самолюбие и сосредоточило всю силу его души в такую решительную минуту и заставило предпочесть верную смерть верному спасению через признание. Этот человек — апофеоз мелочного самолюбия и слабости характера: отсюда все его поступки, и, несмотря на кажущуюся силу его последнего поступка, он вышел прямо из слабости его характера. Самолюбие — великий рычаг в душе человека; оно родит чудеса! Бывают на свете люди, которые не бледнея, как перед чашкою чая, стоят перед дулом своего противника и которые прячутся под фуры во время сражения...

Спускаясь по тропинке вниз, Печорин заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого и невольно закрыл глаза. Возвращаясь в Кисловодск, он опустил поводья и дал волю коню. Солнце уже садилось, когда, измученный, на измученной лошади, приехал он домой. Там застал он две записки — одну от доктора, другую от Веры.

Доктор уведомлял его, что тело уже перевезено, но что благодаря их мерам, заранее взятым, подозрений нет никаких и что он может спать спокойно... если может...

Долго не решался он открыть вторую записку; тяжелое предчувствие мучило его — и оно не обмануло его.

Письмо Веры начинается прощанием навсегда. Муж рассказал ей о ссоре Печорина с Грушницким, — и это так поразило и взволновало ее, что она не помнила, что отвечала ему, и только догадывалась, что то было признание в своей тайной любви, потому что муж оскорбил ее ужасным словом и, вышед из комнаты, велел закладывать карету. Мысль о вечной разлуке увлекла ее к объяснению своих отношений к Печорину, — и вот примечательнейшее место письма:

Мы расстаемся навеки; однако ж ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может

смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтобы ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоём голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая, никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; ничей взор не обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

Письмо заключается изъявлением сомнительной уверенности, что он не любит Мери и не женится на ней. «Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете...»

Велев оседлать измученного коня, как безумный, помчался Печорин в Пятигорск. При возможности потерять Веру она стала для него дороже всего на свете — жизни, чести, счастья! Натиск судьбы взволновал могучую натуру, изнемогавшую в спокойствии и мире, и возбудил ее дремавшее чувство. Здесь невольно приходят на ум эти стихи Пушкина:

О люди! все похожи вы
На прародительницу Еву:
Что вам дано, то не влечет;
Вас беспрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу:
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не в рай.

Стремглав скача и погоняя беспощадно, он стал замечать, что конь его тяжело дышит и спотыкается. Оставалось пять верст до Ессентуков, казачьей станицы, где бы мог он пересестись на другую лошадь. Еще бы только десять минут, но конь рухнулся и издох... Печорин хотел идти пешком, но, изнуренный тревогами дня и бессонницею, он упал на мокрую траву и как ребенок заплакал... Напряженная гордость, холодная твердость — плод сухого отчаяния, софизмы светской философии — все исчезло и умолкло: уже не стало человека, волнуемого страстями, потрясаемого борьбою внутренних противоречий, — перед вами бедное, бессильное дитя, слезами омывающее грехи свои, чуждое, на эту минуту, ложного стыда и не жалующееся ни на судьбу, ни на людей, ни на самого себя...

И долго лежал я неподвижно и плакал горько, не стараясь удержать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли как дым; душа обессилела, рассудок замолк; и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили его горящую голову, он рассудил, что горький прощальный поцелуй не много бы прибавил к его воспоминаниям, а разлука после него была бы тяжелее, — и возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился в постель и проспал мертвым сном до вечера.

Тут пришел к нему Вернер и известил его, что княжна Лиговская больна расслаблением нерв; что начальство догадывается об истинных причинах смерти Грушницкого и что ему должно взять свои меры. В самом деле, на другой день утром он получил приказание от высшего начальства отправиться в крепость N, где судьба и свела его с Максимом Максимычем.

Перед отъездом он зашел к княгине Лиговской проститься. Она встретила его, как человека, наверное явившегося к ней как к матери, с предложением насчет руки дочери. Тут следует превосходная комическая сцена, где княгиня, намекая Печорину, что ей известны его отношения к Мери, дает ему знать, что не будет противиться их соединению и охотно прощает ему странность его поведения в отношении к ее дочери. Несколько раз

прерывала она свой большой монолог пыхтением и вздохами, а наконец, заплакала. Печорин попросил у нее позволения наедине переговорить с ее дочерью, на что княгиня принуждена была согласиться.

Прошло пять минут, сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искру любви к милой Мери, старания мои были напрасны.

Вот дверь отворилась, и вошла она. Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее — а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, наполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленях, были так хилы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

— Княжна, — сказал я, — вы знаете, что я над вами смеялся!.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал: — Следственно, вы меня любить не можете.

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

— Боже мой! — произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

— Итак, вы сами видите, — сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкою, — вы сами видите, что я не могу на вас жениться. Если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись; мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот все, что могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок?.. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудно сверкали.

— Я вас ненавижу... — сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Нужно ли что-нибудь говорить об этой сцене, где бедная Мери является в таком бесконечно поэтическом апотеозе страдания от обманутого чувства и оскорбленного самолюбия и достоинства женщины и где каждое ее движение, каждый звук ее голоса запечатлены такою неотразимою прелестью и истиною, а положение так трогательно и возбуждает такое сильное и горестное участие?.. Нет, кому эта сцена не скажет всего, тому наши слова ничего не пояснят...

Через час скакал он на тройке курьерских из Кисловодска и на дороге увидел своего коня; седло было снято, и вместо его два ворона сидели у него на спине... Он вздохнул и отвернулся...

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этою долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа слилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скачет и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль; не мелькнет ли там, на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

Такою лирическою выходкою, полною бесконечной поэзии и обнаруживающею всю глубину и мощь этого человека, замыкается журнал Печорина. Теперь это таинственное лицо, так сильно волновавшее наше любопытство и в истории Бэлы, и при свидании с Максимом Максимычем, и в рассказе о собственном приключении в Тамани, — теперь оно все перед нами, во весь рост свой. Чрез него самого познакомились мы со всеми изгибами его сердца, со всеми событиями его жизни, и теперь уже сам он ничего нового не в состоянии сказать нам о самом себе. Но между тем, прочтя «Княжну Мери», мы все еще не расстались с ним и еще раз встречаемся с ним как с рассказчиком необыкновенного случая, которого он был свидетелем. Мы не будем ни подробно

излагать содержания этого рассказа, ни делать из него выписок. В обществе офицеров зашел спор о восточном фатализме, и молодой офицер Вулич предложил пари против предопределения, схватил со стены первый попавшийся ему из множества висевших на стене пистолетов, насыпал на полку пороха, приставил пистолет ко лбу, спустил курок — осечка!.. Захотели узнать, точно ли пистолет был заряжен, выстрелили в фуражку, — и когда дым рассеялся, все увидели, что фуражка была прострелена. Еще до выстрела Печорину в лице и голосе Вулича показалось что-то такое странное и таинственное, что он невольно убедился в близкой смерти этого человека и предрек ему смерть. В самом деле, выходя из общества, Вулич был убит на улице станицы пьяным казаком. Да здравствует фатализм! Все, что мы пересказали в нескольких строках, составляет в романе порядочный отрывок с превосходно изложенными подробностями, увлекательный по рассказу. Особенно хорошо обрисован характер героя — так и видите его перед собою, тем более что он очень похож на Печорина. Сам Печорин является тут действующим лицом, и едва ли еще не более на первом плане, чем сам герой рассказа. Свойство его участия в ходе повести, равно как и его отчаянная, фаталическая смелость при взятии взбесившегося казака, если не прибавляют ничего нового к данным о его характере, то все-таки добавляют уже известное нам и тем самым усугубляют единство мрачного и терзающего душу впечатления целого романа, который есть биография одного лица. — Это усиление впечатления особенно заключается в основной идее рассказа, которая есть — фатализм, вера в предопределение, одно из самых мрачных заблуждений человеческого рассудка, которое лишает человека нравственной свободы, из слепого случая делая необходимость. Предрассудок — явно выходящий из положения Печорина, который не знает, чему верить, на чем опереться, и с особенным увлечением хватается за самые мрачные убеждения, лишь бы только давали они поэзию его отчаянию и оправдывали его в собственных глазах.

Что же за человек этот Печорин? — Здесь мы должны обратиться к «Предисловию», написанному автором романа к журналу Печорина.

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтоб разразиться над его головою громом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Несмотря на всю софистическую ложность этой горькой выходки, — самая ее желчность свидетельствует уже, что в ней есть своя истинная сторона. В самом деле, и дружба, подобно любви, есть роза с роскошным цветом, упоительным ароматом, но и с колючими шипами. Каждая индивидуальность как бы по природе своей враждебна другой и силится пересоздать ее по-своему, и в самом деле, когда сходятся две субъективности, они, так сказать, чрез взаимное трение друг о друга сглаживаются и изменяются, заимствуя одна от другой то, чего им недостает. Отсюда это взаимное цензорство в дружбе, эта страсть раздражаться над головою друга градом упреков, насмешек и сожалений. Самолюбие тут играет свою роль, но если дружба основана не на детской привязанности или какой-нибудь внешней связи, — истинная привязанность, внутреннее человеческое чувство всегда играет тут свою роль. Автор видит в дружбе одни шипы — и его ошибка не в ложности, а в односторонности взгляда. Он, видимо, находится в том состоянии духа, когда в нашем разумении всякая мысль распадается на свои же собственные моменты, до тех пор, пока дух наш не созреет для великого процесса разумного примирения противоположностей в одном и том же предмете. Вообще хотя автор и выдает себя за человека, совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде на вещи — удивительное сходство. Следующее место из «Предисловия» еще более подтверждает нашу мысль:

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ — заглавие этой книги. — «Да это злая ирония!..» — скажут они. — Не знаю.

Итак — «Герой нашего времени» — вот основная мысль романа. В самом деле, после этого весь роман может почтяться злою иронией, потому что большая часть читателей наверное воскликнет: «Хорош же герой!» — А чем же он дурен? — смеем вас спросить.

Зачем же так неблагоклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких дум неосторожность,
Себялюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит.
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
И что посредственность одна
Нам по плечу и не страшна.

Вы говорите против него, что в нем нет веры. Прекрасно, но ведь это то же самое, что обвинять нищего за то, что у него нет золота: он бы и рад иметь его, да не дается оно ему. И притом разве Печорин рад своему безверию? разве он гордится им? разве он не страдал от него? разве он не готов ценою жизни и счастья купить эту веру, для которой еще не настал час его?.. Вы говорите, что он эгоист? — Но разве он не презирает и не ненавидит себя за это? разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной?.. Нет, это не эгоизм: эгоизм не страдает, не обвиняет себя, но доволен собою, рад себе. Эгоизм <не> знает мучения: страдание есть удел одной любви. Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля: пусть взрыхлит ее страдание и оросит благодатный дождь, — и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви... Этому человеку стало больно и грустно, что его все не любят, — и кто же эти «все»? — Пустые, ничтожные люди, которые не могут простить ему его превосходства над ними. А его готовность задушить в себе ложный стыд, голос светской чести и оскорбленного самолюбия, когда он за признание в клевете готов был простить Грушницкому, человеку, сейчас только выстрелившему в него пулею и бесстыдно ожидавшему от него холостого выстрела? А его слезы и рыдания в пустынной степи, у тела издохшего коня? — Нет, все это не эгоизм! Но его — скажете вы — холодная расчетливость, систематическая рассчитанность, с которою он обольщает бедную девушку, не любя ее, и только для того, чтобы посмеяться над нею и чем-нибудь занять свою праздность? — Так, но мы и не думаем оправдывать его в таких поступках, ни выставлять его образцом и высоким идеалом чистейшей нравственности: мы только хотим сказать, что в человеке должно видеть человека и что идеалы нравственности существуют в одних классических трагедиях и морально-сентиментальных романах прошлого века. Судя о человеке, должно брать в рассмотрение обстоятельства его развития и сферу жизни, в которую он поставлен судьбою. В идеях Печорина много ложного, в ощущениях его есть искажение; но все это выкупается его богатою натурою. Его во многих отношениях дурное настоящее обещает прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрым движением парохода, видите в нем великое торжество духа над природою? — И хотите потом отрицать в нем всякое достоинство, когда он сокрушает, как зерно жернов, неосторожных, попавших под его колеса: не значит ли это противоречить самим себе?

Опасность от парохода есть результат его чрезмерной быстроты: следовательно, порок его выходит из его достоинства. Бывают люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведения, потому что она в них есть следствие безжизненности и слабости духа. Порок возмутителен и в великих людях; но наказанный, он приводит в умиление вашу душу. Это наказание только тогда есть торжество нравственного духа, когда оно является не извне, но есть результат самого порока, отрицание собственной личности индивидуума в оправдание вечных законов оскорбленной нравственности. Автор разбираемого нами романа, описывая наружность Печорина, когда он с ним встретился на большой дороге, вот что говорит о его глазах: «Они не смеялись, когда он смеялся... Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак — или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но пронизательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен». — Согласитесь, что как эти глаза, так и вся сцена свидания Печорина с Максимом Максимычем показывают, что если это порок, то совсем не торжествующий, и надо быть рожденным для добра, чтоб так жестоко быть наказану за зло!.. Торжество нравственного духа гораздо поразительнее совершается над благородными натурами, чем над злодеями...

А между тем этот роман совсем не злая ирония, хотя и очень легко может быть принят за иронию; это один из тех романов,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

«Хорош же современный человек!» — воскликнул один нравоописательный «сочинитель», разбирая, или, лучше сказать, ругая, седьмую главу «Евгения Онегина». Здесь мы почтаем кстати заметить, что всякий современный человек, в смысле представителя своего века, как бы он ни был дурен, не может быть дурен, потому что нет дурных веков, и ни один век не хуже и не лучше другого, потому что он есть необходимый момент в развитии человечества или общества.

Пушкин спрашивал самого себя о своем Онегине:

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес.
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон, —
Уж не пародия ли он?

И этим самым вопросом он *разрешил загадку и нашел слово*. Онегин не *подражание*, а *отражение*, но сделавшееся не в фантазии поэта, а в современном обществе, которое он изображал в лице героя своего поэтического романа. Сближение с Европою должно было особенным образом отразиться в нашем обществе, — и Пушкин гениальным инстинктом великого художника уловил это отражение в лице Онегина. Но Онегин для нас уже прошедшее, и прошедшее невосвратно. Если бы он явился в наше время, вы имели право спросить вместе с поэтом:

Все тот же ль он, иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? — Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной.
Иль просто будет добрый малой
Как вы да я, как целый свет?

Печорин Лермонтова есть лучший ответ на все эти вопросы. Это Онегин нашего времени, *герой нашего времени*. Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и невидимая самим поэтом...

Со стороны художественного выполнения нечего и сравнивать Онегина с Печориным. Но как выше Онегин Печорина в художественном отношении, так Печорин выше Онегина по идее. Впрочем, это преимущество принадлежит нашему времени, а не Лермонтову. Что такое Онегин? — Лучшею характеристикой и истолкованием этого лица может служить французский эпиграф к поэме: «Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions suite d'un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire» ⁷. Мы думаем, что это превосходство в Онегине нисколько не было воображаемым, потому что он «вчуже чувства уважал» и что в «его сердце была и гордость, и прямая честь». Он является в романе человеком, которого убили воспитание и светская жизнь, которому все пригляделось, все приелось, все прилюблилось и которого вся жизнь состояла в том,

Что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.

Не таков Печорин. Этот человек не равнодушно, не апатически несет свое страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения: подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую мысль свою. Он сделал из себя самый любопытный предмет своих наблюдений и, стараясь быть как можно искреннее в своей исповеди, не только откровенно признается в своих истинных недостатках, но еще и выдумывает небывалые или ложно истолковывает самые естественные свои движения. Как в характеристике современного человека, сделанной Пушкиным, выражается весь Онегин, так Печорин весь в этих стихах Лермонтова:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

«Герой нашего времени» — это грустная дума о нашем времени, как и та, которою так благородно, так энергически возобновил поэт свое поэтическое поприще и из которой мы взяли эти четыре стиха...

Но со стороны формы изображение Печорина не совсем художественно. Однако причина этого не в недостатке таланта автора, а в том, что изображаемый им характер, как мы уже слегка и намекнули, так близок к нему, что он не в силах был отделиться от него и объективировать его. Мы убеждены, что никто не может видеть в словах наших желание выставить роман г. Лермонтова автобиографией. Субъективное изображение лица не есть автобиография: Шиллер не был разбойником, хотя в *Карле Мооре* и выразил *свой идеал* человека. Прекрасно выразился Фарнгаген, сказав, что на Онегина и Ленского можно бы смотреть, как на братьев Вульта и Вальта у Жан-Поля Рихтера, то есть как на разложение самой природы поэта, и что он, может быть, воплотил двойство своего внутреннего существа в этих двух живых созданиях. Мысль верная, а между тем было бы очень нелепо искать сходных черт в жизни этих лиц с жизнью самого поэта.

Вот причина неопределенности Печорина и тех противоречий, которыми так часто опутывается изображение этого характера. Чтобы изобразить верно данный характер, надо совершенно отделиться от него, стать выше его, смотреть на него как на нечто оконченное. Но этого, повторяем, не видно в создании Печорина. Он скрывается от нас таким же неполным и неразгаданным существом, как и является нам в начале романа. Оттого и самый роман, поражая удивительным единством *ощущения*, нисколько не поражает единством *мысли* и оставляет нас без всякой перспективы, которая невольно возникает в фантазии читателя по прочтении художественного произведения и в которую невольно погружается очарованный взор его. В этом романе удивительная замкнутость создания, но не та высшая, художественная, которая сообщается созданию чрез единство поэтической идеи, а происходящая от единства поэтического ощущения, которым он так глубоко поражает душу читателя. В нем есть что-то неразгаданное, как бы недоговоренное, как в «Вертере» Гёте, и потому есть что-то тяжелое в его впечатлении. Но этот недостаток есть в то же время и достоинство романа г. Лермонтова: таковы бывают все современные общественные вопросы, высказываемые в поэтических произведениях: это вопль страдания, но вопль, который облегчает страдание...

Это же единство ощущения, а не идеи связывает и весь роман. В «Онегине» все части органически сочленены, ибо в избранной рамке романа своего Пушкин исчерпал всю свою идею, и потому в нем ни одной части нельзя ни изменить, ни заменить. «Герой нашего времени» представляет собою несколько рамок, вложенных в одну большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героя. Части этого романа расположены сообразно с внутреннею необходимостью; но как они суть только отдельные случаи из жизни хотя и одного и того же человека, то и могли б быть заменены другими, ибо, вместо приключения в крепости с Бэлою или в Тамани, могли б быть подобные же и в других местах, и с другими лицами, хотя при одном и том же герое. Но тем не менее основная мысль автора дает им единство, и общность их впечатления поразительна, не говоря уже о том, что «Бэла», «Максим Максимыч» и «Тамань», отдельно взятые, суть в высшей степени художественные произведения. И какие типические, какие дивно художественные лица — Бэлы, Азамата, Казбича, Максима Максимыча, девушки в Тамани! Какие поэтические подробности, какой на всем поэтический колорит!

Но «Княжна Мери», и как отдельно взятая повесть, менее всех других художественна. Из лиц один Грушницкий есть истинно художественное создание. Драгунский капитан бесподобен, хотя и является в тени, как лицо меньшей важности. Но всех слабее

обрисованы лица женские, потому что на них-то особенно отразилась субъективность взгляда автора. Лицо Веры особенно неуловимо и неопределенно. Это скорее сатира на женщину, чем женщина. Только что начинаете вы ею заинтересовываться и очаровываться, как автор тотчас же и разрушает ваше участие и очарование какою-нибудь совершенно произвольною выходкою. Отношения ее к Печорину похожи на загадку. То она кажется вам женщиною глубокою, способною к безграничной любви и преданности, к героическому самоотвержению; то видите в ней одну слабость, и больше ничего. Особенно ощутителен в ней недостаток женственной гордости и чувства своего женственного достоинства, которые не мешают женщине любить горячо и беззаветно, но которые едва ли когда допустят истинно глубокую женщину сносить тиранство любви. Она любит Печорина, а в другой раз выходит замуж, и еще за старика, следовательно по расчету, по какому бы то ни было; изменив для Печорина одному мужу, изменяет и другому, и скорее по слабости, чем по увлечению чувства. Она обожает в Печорине его высшую природу, и в ее обожании есть что-то рабское. Вследствие всего этого она не возбуждает к себе сильного участия со стороны автора и, подобно тени, проскользает в его воображении. Княжна Мери изображена удачнее. Эта девушка неглупая, но и не пустая. Ее направление несколько идеально, в детском смысле этого слова; ей мало любить человека, к которому влекло бы ее чувство, непременно надо, чтобы он был несчастен и ходил в толстой и серой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить ее: стоило только казаться непонятным и таинственным, и быть дерзким. В ее направлении есть нечто общее с Грушницким, хотя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя; но когда увидела себя обманутою, она, как женщина, глубоко почувствовала свое оскорбление и пала его жертвою, безответною, безмолвно страдающею, но без унижения, — и сцена ее последнего свидания с Печориным возбуждает к ней сильное участие и обливает ее образ блеском поэзии. Но, несмотря на это, и в ней есть что-то как будто бы недосказанное, чему опять причиною то, что ее тяжбу с Печориным судило не третье лицо, каким бы должен был явиться автор.

Однако при всем этом недостатке художественности вся повесть насквозь проникнута поэзией, исполнена высочайшего интереса. Каждое слово в ней так глубоко знаменательно, самые парадоксы так поучительны, каждое положение так интересно, так живо обрисовано! Слог повести — то блеск молнии, то удар меча, то рассыпающийся по бархату жемчуг! Основная идея так близка сердцу всякого, кто мыслит и чувствует, что всякий из *таких*, как бы ни противоположно было его положение положениям, в ней представленным, увидит в ней исповедь собственного сердца.

В «Предисловии» к журналу Печорина автор, между прочим, говорит:

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света, но теперь я не могу взять на себя эту ответственность.

Благодарим автора за приятное обещание, но сомневаемся, чтоб он его выполнил: мы крепко убеждены, что он навсегда расстался с своим Печориным. В этом убеждении утверждает нас признание Гёте, который говорит в своих записках, что, написав «Вертера», бывшего плодом тяжелого состояния его духа, он освободился от него, и был так далек от героя своего романа, что ему смешно было видеть, как сходила от него с ума пылкая молодежь... Такова благородная природа поэта, собственною силою своею вырывается он из всякого момента ограниченности и летит к новым, живым явлениям мира, в полное славы творенье... Объектируя собственное страдание, он освобождается от него: переводя на поэтические звуки диссонансы духа своего, он снова входит в родную ему сферу вечной гармонии... Если же г. Лермонтов и выполнит свое обещание, то мы уверены, что он представит уже не старого и знакомого нам, о котором он уже все сказал, а совершенно нового Печорина, о котором еще можно много сказать. Может быть, он покажет его нам исправившимся, признавшим законы нравственности, но верно уж не

в утешение, а в пущее огорчение моралистов; может быть, он заставит его признать разумность и блаженство жизни, но для того, чтобы увериться, что это не для него, что он много утратил сил в ужасной борьбе, ожесточился в ней и не может сделать эту разумность и блаженство своим достоянием... А может быть и то: он сделает его и причастником радостей жизни, торжествующим победителем над злым гением жизни... Но то или другое, а во всяком случае искупление будет совершено через одну из тех женщин, существованию которых Печорин так упрямо не хотел верить, основываясь не на своем внутреннем созерцании, а на бедных опытах своей жизни... Так сделал и Пушкин с своим Онегиным: отвергнутая им женщина воскресила его из смертного усыпления для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастье, а для того, чтобы наказать его за неверие в таинство любви и жизни и в достоинство женщины...

¹ Так как стихотворения Лермонтова скоро выйдут в свет особою книжкою, то мы и поговорим о них поподробнее в свое время и в особой статье.

² Боже мой, черкес!.. (фр.)

³ Ничего не бойтесь, сударыня, я не опаснее вашего спутника (фр.).

⁴ Повестей нравоучительных и повестей философских (фр.).

⁵ Лицом к лицу (фр.).

⁶ «Отечественные записки», 1839, № 1.

⁷ Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, — следствие чувства превосходства, быть может мнимого (фр.).